

ВАЛЕНТИН  
ПИКУЛЬ



НА ЗАДВОРКАХ  
ВЕЛИКОЙ  
ИМПЕРИИ



# **Валентин Саввич Пикуль На задворках Великой империи. Том 3. Книга вторая. Белая ворона**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22564692](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22564692)*

*Валентин Пикуль. На задворках великой империи. Том 3. Книга вторая.*

*Белая ворона: Вече; Москва; 2011*

*ISBN 978-5-4444-8874-4*

## **Аннотация**

В романе раскрывается панорама жизни русской провинции в начале XX века. Почитателей таланта Валентина Пикуля ждет новая встреча с захватывающим сюжетом, яркими героями, реалиями истории нашего Отечества.

# Содержание

Глава шестая	5
1	5
2	18
3	26
4	40
5	54
6	70
7	83
8	90
9	104
Глава седьмая	108
1	108
2	124
Конец ознакомительного фрагмента.	125

**Валентин Пикуль**  
**На задворках**  
**великой империи**  
**Том 3. Книга вторая.**  
**Белая ворона**  
**(Продолжение.**  
**Начало в томе 2)**

© Пикуль В. С., наследники, 2011

© Пикуль А. И., составление и комментарии, 2011

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

# Глава шестая

## 1

Первого октября был ратифицирован договор о мире, заключенный в Портсмуте, и Ениколопов первым поздравил губернатора.

– Были вот у нас, – сказал, – Орлов-Чесменский, Потемкин-Таврический, Муравьев-Амурский, а Витте чем не «Полусахалинский»?

Мышецкий не улыбнулся: южную половину Сахалина пришлось японцам отдать, и то хорошо! Россия с гримасой пренебрежения к врагу выходила из этой дурацкой истории, затеянной покойным Плеве, Безобразовым, Абазой и лично государем императором...

– Что делать, Вадим Аркадьевич, – вздохнул князь, – пришлось уступить. А его величеству надо же было откупиться от Витте графским титулом! И не это меня тревожит... Где же, наконец, переход к конституционному правлению на Руси? Хотели раздавить революцию в университете, а раздавили ректора университета! Сама же революция, ничтоже сумнящся, вдруг выпрыгнула на площадь...

– Правых сейчас нет, – ответил Ениколопов, – остались только левые... Разве вы не согласны, Сергей Яковлевич?

– Еще вчера я, может, не согласился бы с вами. Но сегодня узнал, что князь Мещерский (тьфу, тьфу) из своего Гродненского тупика пробурчал что-то о необходимости конституции...

Так они беседовали – час или даже больше. С этого дня (а может, и раньше) началось единство Мышецкого с Ениколоповым. Голубыми чистыми глазами глядел эсер на губернатора, и между ними лежала судьба Пети Попова, убитого взрывом желтого мелинита, который сам же Ениколопов и приготовил для Додо...

На прощание Ениколопов, непонятно к чему, сказал:

– Революция, князь, как дорогой алмаз, имеет множество граней, и каждая из них отсвечивает своим цветом. Так и со мною, князь! Можете записать это на крышке стола, чтобы потом вспомнить...

Вадим Аркадьевич вернулся к себе домой. И кто-то сразу постучался снаружи. Ениколопов, распахнув дверь, невольно отступил – в комнату решительно шагнул Дремлюга.

– Не ждали? – спросил, кидая фуражку на гвоздик. – Что ж, не обессудьте на нечаянном визите, Вадим Аркадьевич. Хватит нам уже в прятки играть – пора и покумиться!

Ениколопов потер кулак о ладонь другой руки:

– Прикажете, куманек дорогой, самоварчик поставить?

– Самовара не надобно. Садитесь...

Ениколопов сел. Жандарм – напротив. Помолчали, озираясь.

Дремлюга – тррр – мундир расстегнув, бумажками зашуршал.

– Ну и дела! – сказал весело. – А еще дворянин! У вас все такие дворяне в Тамбове? Чем занимаетесь?.. Иконников хвастанул вам, как другу, что свидание с губернаторшей будет иметь, и вы – предали! Узнали, что Борисяк в Запереченске, – вот он, доносец! Место, где скрывается Борисяк, – пожалуйста, вот ваше нижайшее доношение! Как же дальше-то будет, Вадим Аркадьевич? Или прямо вас в корпус его величества жандармов зачислить?

– Дайте сюда, – протянул Ениколопов руку за бумажками.

– Нет, вы так смотрите! Даже бумагу рвали из рецептурных книжек. Видать, здóрово торопились. Зажгло вам... Ну? Что? Как? Попался? Теперь-то, брат, ты – мой, – сочно сказал Дремлюга.

– Верно, – согласился Ениколопов спокойно. – Ты тоже мой, сказал близнец близнецу, мы оба срослись попками! Только одну минутку, господин капитан, и все сомнения сейчас разрешатся...

– Куда-а? – заорал Дремлюга.

– Я же сказал вам: только одну минутку...

Дремлюга остался сидеть на стуле. Душа его ликовала.

– Ну что там возитесь? – крикнул и пересел в кресло хозяина.

– Сейчас... – донесся голос Ениколопова.

Шаги за спиной – и на лицо жандарма легла мокрая тряп-

ка, пропитанная хлороформом. Дремлюга был мужик сильный (много он каши ел!), рванулся из кресла. Но тамбовский дворянин, возросший на сливках, не дал ему сбросить маску – стиснул железно:

– Дышите, капитан... дышите, куманек!

Дремлюга, брыкаясь ногами, почти утонул в продавленном кресле. Один вдох, еще, еще... Не вырваться! Плечи его обмякли, погоны провисли. И душа жандарма погрузилась в благоуханный, но тяжкий сон. Сон, близкий к состоянию смерти...

– Вот так, – сказал Ениколопов, брезгливо отбросив тряпку.

Посмотрел на часы, отметив время: хватит, чтобы продумать обстановку, сложившуюся далеко не в его пользу...

\*\*\*

Мышецкий после разговора с Ениколоповым закончил глубокомысленные размышления о гранях алмаза и тоже глянул на часы.

– Полвторого... Огурцов, – сказал князь, – я отбываю!

– Ежели будут спрашивать вас, что говорить, князь?

– Проедусь... А вы придумайте что-нибудь сами. Дельное!

Мелкий осенний дождь стучался в верх коляски. Дышалось после кабинетного сидежа легко и чисто. Вспомнилось детство: запахи мокнувших осенних садов, печальные арома-



ты увядания. «Вот и октябрь, – думал князь, уютно покачиваясь, – вот и первая моя уренская осень... Что-то принесет нам зима?»»

– Куды заворачивать? – спросил кучер на перекрестке.

– А куда-нибудь, мне все равно... Покатай меня!

Доехали до «кольца» конки. Запаренные лошади мотали головами, струи дождя обтекали мокрые попоны. Впереди рассыпались невеселые домики Петуховки, где селилось мещанство и рабочее. Обжитым теплом веяло от кружевных занавесок, зацветали за изгородями махровые георгины, тяжелые и прекрасные, под струями осени...

Одинокая женщина спрыгнула с вагона конки под дождь, в руке – саквояжик, и он узнал госпожу Корево, которая развернула на ветру бумажку, вчитываясь в адрес и озираясь по сторонам...

– Галина Федоровна, – позвал. – Скажите, куда вам?

– К роженице, князь...

Мышецкий перенял из рук женщины саквояж, прочел адрес на мокром лоскутке бумаги. «Гони», – велел кучеру и пустил бумажку на ветер; торопливо зацокали кони, под наветом возка потеплело...

– Я вам так благодарна, – сказала Корево. – Но не оторвала ли я вас от служебной поездки?

– Сударыня, я совсем не имею маршрута, просто мне надоело сидеть в присутствии. Доблестный мой жандарм обещал зайти, но его нет как нет, и я – свободен! – Он довез аку-

шерку до дома роженицы, сказал, что непременно дождет-ся. – Не спорьте, сударыня... Дождь и ветер! Вы ничем не будете мне обязаны, лишь доставите удовольствие...

Через раскрытое окно он услышал первый писк нового российского подданного. Это было тревожно, и если вдуматься, то даже непонятно, как всякое таинство. Скоро появилась из калитки Корево, бросила в коляску саквояж.

– Я прибыла в самый последний момент, – засмеялась она смущенно. – Здесь, на Петуховке, очень здоровые женщины. Рожают просто в наслаждение. А вот вчера я измучилась...

– Вы устали, – ответил Мышецкий. – Разве вам не надоела эта жизнь – по номерам, по кухмистерским?..

Корево пожала плечом, сказала о другом:

– Борисяк велел кланяться вам, князь. Он отзывался о вас как о честном и добром человеке.

– Благодарю, – растрогался Мышецкий. – Передайте и мой поклон ему, когда навестите снова. Я тоже уважаю Савву Кирилловича и хотел бы видеть его на свободе. Вам покажется это смешным, но я ощущаю постоянную нехватку в двух людях: в Борисяке и... и в полковнике Суцее-Ракусе. Знаете, был тут такой?..

Кучер остановил лошадей на очередном перекрестке:

– Куды теперича, ваше сиятельство?

– Надеюсь, – спросил Мышецкий у Корево, – вы мало придаете значения условностям?

– Не придаю вообще, – ответила женщина.

– Тогда, прошу вас, не откажите пообедать вместе со мною в «Аквариуме». Поверьте: пересуды вас никогда не коснутся, ибо вы, Галина Федоровна, совсем не похожи на всех прочих женщин.

– Отчего же?... Разве не похожа? Только, ради бога, не надо в «Аквариум», тогда-то меня и коснутся пересуды...

Поехали на вокзал. Сергей Яковлевич почти умиленно смотрел на сырые истоптанные туфли акушерки, на ее полные ноги в сиреневых чулках. Заметил, что она старательно держит руку в кулачке, боясь показать штопанную перчатку. «Как она мила!» – думал он...

За обедом состоялся разговор – весьма откровенный.

– Я знаю, – сказал Мышецкий, – меня за спиной называют «белой вороной». Впервые я услышал такое мнение о своей особе от самого Дурново! А вы... вы такого же мнения обо мне?

– Не надо, князь, прислушиваться к мнению врагов народа...

– Я не люблю этих слов, – взволнованно ответил Мышецкий. – Кто придумал их? Как можно быть врагом своего народа? Можно быть врагом своего правительства – это да, мне понятно...

Через громадное окно ресторана было видно, как подали к перрону состав. И, боже, что тут началось: мать Россия кинулась, тряся мешками, громяхая чемоданами, в узкие вагонные двери. Мужики, сплошь одни мужики! Сергей Яковле-

вич перехватил взгляд акушерки, пытливо на него устремленный, и кивнул, мол, понял.

– Да, бегут, – сказал он. – Гонит бескормица. Бегут не только у нас... Желаете, Галина Федоровна, и я скажу вам то, что известно лишь из министерских отчетов? Доля статистики не повредит...

– Выслушаю вас, князь.

– Война стоила нам два миллиарда, и весь этот чудовищный налог будет разложен нами на несколько поколений. Это – ерунда: Россия выживет! Но зато в этом году мы собрали хлеба на двадцать три процента меньше, чем в прошлые годы. И этот налог не разложить на поколения грядущие! Этот налог навалился сразу вот на этих... – Он показал на окно. – И они бегут от него; им, беднягам, кажется, что в городах все будет: хлеб, заработок, крыша над головой! Но как они жестоко ошибаются...

Корево сделала князю аппетитный бутерброд.

– Ешьте, – сказала кратко, – вы плохо едите, князь! – И ему стало и смешно и грустно: впервые за много лет он ощутил заботу женщины о себе (приятно, когда мужчина сидит за столом не один).

– Раньше, – продолжил он, – я как-то сомневался в близости революции. Но я все-таки – статистик, у меня душа не поэта, а бухгалтера... Недород убедил меня, что революция в России возможна именно сейчас. Осенью, когда цыплят надо считать...

Она задала ему вопрос, который он уже слышал от кого-то:

– И что же вы будете делать, князь?

И так же, как в прошлый раз, Мышецкий ответил:

– Ни-че-го, сударыня... Двумя руками я не подпишусь под революцией. Но пройти через чистилище России необходимо, верю!

Свистнул паровоз, и в окне ресторана проплыли подножки вагонов, с которых свисали сундуки и мешки.

– Вы правы, – сказала Корево. – Как бы наша борьба с голодом не вызвала борьбы с голодающими!.. – И неожиданно призналась с улыбкой: – А ведь я вас, князь, совсем иначе себе представляла...

\*\*\*

Дремлюга с трудом открыл глаза. Прямо перед ним, на полке, стояла высокая стеклянная банка со спиртом, и в ней плавал какой-то сизо-красный человеческий отросток.

– Вадим Аркадьевич, – жалобно простонал Дремлюга, – ты не у меня ли чего вырезал? Ты же сволочь, я это знаю... а?

Ениколопов встряхнул в руке банку, и ужасный отросток забултыхался в голубом спирте, то утопая, то всплывая снова.

– А что? – спросил. – Узнали свою знакомую кишку? Нет, это не ваша... – Деловито пощупал затем пульс жандарма. –

Очень хорошо, – сказал, – и вы не судите меня строго. Если бы я не поступил так с вами, то разговор обернулся бы выстрелами. Но теперь я успокоился, все продумал. Давайте поговорим по душам.

Разговор «по душам» начал вести Дремлюга:

– Подлец... оборотень! Что ты наделал? Дай сюда мои бумаги!

– Что вас смущает, капитан? – спросил Ениколопов, не выпуская доносков из своих пальцев. – Ваши подозрения (да!) справедливы. Я сознаю – подлец и негодяй. Хорошо... Дальше!

Дремлюга, сидя в кресле, расслабший, махал кулаками:

– Ты лезешь в доверие к губернатору. А он, олух царя небесного, уши перед любым развешивает! Ты и князя хочешь перетащить на свой корабль? Не дам... Ты же его предал. Борисяка я поймал благодаря тебе! Куда пойдешь ты теперь, мозгля тамбовская? Куда? Я тебя выведу на чистую воду, ты у меня в кулак насвистишься!

Ениколопов внимательно выслушал жандарма.

– Да, – сознался, – с князем действительно вышло некрасиво. Но, мой любезный голубой господин, что вы можете иметь ко мне? Какие претензии?.. Предупреждаю: вы говорите – как представитель власти, а я буду отвечать – как состоящий под надзором у этой власти. Что я сделал такого, что могло бы преследоваться вами как противоправительственное деяние? Пожалуйста – отвечайте!

– Нет, – осунулся Дремлюга, – такого ты ничего не сделал...

– Так чего же ты, хам, пришел сюда в скрипящих сапогах, с пробором на глупой башке? Уж не кажется ли тебе, что ты умнее меня, Ениколопова?

– Ты... провокатор, – сказал Дремлюга.

– Все в этом мире объяснимо, – ответил Ениколопов. – Да не будь таких, как я, на чем бы вы, жандармы, свою карьеру делали? Вы же – глупцы, вам ли было поймать Борисяка? Он хитрее вас...

Дремлюга вытянул широкую мужицкую лапу:

– Дай сюда! Верни... слышишь?

Ениколопов швырнул свои доносы в огонь печи, помешал кочергой, и они разом вспыхнули, быстро испепеленные.

– Липа! – вздохнул эсер. – Ты, куманек, бумаги опасайся... Однако в одном ты прав: князю будет неприятно, ежели он узнает, что Алиса Готлибовна была застигнута по моей вине. А потому, как близнец близнеца, прошу: не надо делать резких движений. Каждое свое движение прошу отныне согласовывать с моим, капитан!

– Да провались ты... Завтра же, – пригрозил Дремлюга, – я все расскажу Борисяку, и посмотришь какую из тебя делают котлету деповские товарищи!

– Завтра?.. – усмехнулся Ениколопов. – Надо еще дожить до завтра. Вы знаете, капитан, что я слов на ветер не бросаю. И не я, так другие, стоит мигнуть только, – взорвут!.. Что

еще?

Дремлюга задумался – тяжело, безысходно.

– Тогда, – решил, – оформим договор. Как и положено. Сто сорок рублей ежемесячно я готов платить. Никто не узнает. А больше – не могу: мы же не Москва, а Уренск, сметы у нас не жирные!

Опираясь на кочергу, как на стек, Ениколопов ответил:

– А вам не приходила такая мысль, что я могу быть бескорыстным? Мне ли драть с вашей богаделенки по сто сорок? Сами-то вы зубами на каждую полушку щелкаете. Я не провокатор! – крикнул Ениколопов, замахиваясь кочергой. – Я все делаю ради идеи...

– Ври, ври, – ответил Дремлюга. – Идеи могут быть у Борисяка, я это знаю, а у тебя их и не ночевало... Ты же – наш!

Ениколопов отставил в угол кочергу, побледнел.

– Разговор закончим, – сказал он спокойно. – Я выпускаю вас живым отсюда при одном условии...

– Ну? – спросил Дремлюга, потянувшись в карман.

– Да нет, – ответил Ениколопов. – Ваш револьвер у меня. Вот он... возьмите, капитан! Мы же не дети... Повторяю: выходите от меня живым при одном условии. Можете травить большевиков, как вам угодно. Но никогда не мешайтесь в мою борьбу, в борьбу междупартийную! Иначе... Вы меня извините, Антон Петрович, но иначе для вас кончится очень плохо. А меня не трогать... Взорву!

Дремлюга шагнул к дверям. Сорвал с гвоздика свою фу-



ражку.

Его бросало от стенки к стенке.

– Двести! – крикнул он от порога.

– Иди к черту, – ответил Ениколопов. – Я не провокатор...

Ночная темнота едва-едва светилась редкими фонарями.

Ничего не было решено, но зато все было решено. Бот так!

Это верно: революция, как алмаз, имеет много граней, и одна из них вдруг вспыхивает небывалым цветом – черным...

– Господин Иконников, – начал Мышецкий официально, – я знаю вас как человека, мыслящего шире вашего почтенного папеньки, и, несомненно, вы прислушаетесь к моим словам. (Геннадий Лукич покорно кивнул – весь внимание.) Двадцать шесть губерний Российской империи, – продолжал князь, – в число коих входит и наша область, испытали страшный недород. Теперь, когда опубликованы отчеты, видно катастрофическое положение внутри России. По всей стране земства хлопочут о снятии рогаток перед частной благотворительностью и частными пожертвованиями...

– Вы угадали мои мысли, князь. Нужды народа всегда были близки моему сердцу, и... Кстати, – спросил Иконников, – во сколько сейчас оценивает министерство пуд хлеба?

– Семьдесят пять копеек.

– Тысячу пудов, князь, вы уже имеете!

– Мало, – ответил Мышецкий. – Не забывайте, Геннадий Лукич, что близятся выборы в думу, а вы, ссудя Уренскую губернию хлебом, сядете в кресло Таврического дворца... Не так ли?

Иконников-младший слегка поморщился:

– Цинично, князь, но зато откровенно... Благодарю!

– А что делать? – даже не смутился Мышецкий. – Ведь не для себя же я прошу. Приду в «Аквариум», и Бабакай все-

гда нарежет мне хлеба, сколько хочу... Конкордия Ивановна имела неосторожность угробить Мелхисидека. Извините, но мне более занять негде! Одолжите хоть вы... для народа! Для нашего несчастного россиянства!

– Две тысячи пудов, – поклонился Иконников. – Сегодня обед в Купеческом клубе, и я объявлю об этом... Но, князь, хочу внести некоторую поправку: сейчас хлеб отодвинут на край стола, а в солонке лежит вопрос о демократии. Проблеме с хлебом вы разрешите, я знаю вашу настойчивость. Но вот каково-то будет в Уренске, когда все кинутся с ножами резать каравай свобод?

Мышецкий оценил шутку и махнул рукой – огорченно:

– Боюсь, что мне останутся одни корки. Причем – обгорелые и совсем невкусные. Ладно, как-нибудь пережую...

Проводив Иконникова, Сергей Яковлевич велел Огурцову соединить его с редакцией «Уренских губернских ведомостей».

– От вас требуется сейчас, – наказал он редактору, – передовая статья, почти официоз. А смысл таков: никаких волнений, ибо местная власть прилагает все старания к удовлетворению нуждающихся хозяйств. Частная благотворительность на чеку!

В ответ – поразительная новость:

– Все ушли, князь. На типографии – замок... Забастовка! Сергей Яковлевич заметался возле аппарата:

– С чего бы? Издание официальное. Работа хорошо опла-

чивается. Какие могут быть требования у бастующих?

— Забастовка не ради личных нужд, а ради солидарности с бастующими типографиями Москвы, — пояснил редактор.

— Когда же она кончится?

— Кончится в Москве — кончится и у нас...

Стало скверно. Только было развернул доброе начинание на благо народа... И вот — на́ тебе! — эти господа повесили замок. И ничего даже не требуют: так, ради солидарности. Пошли домой и пьют себе чай. «Пролетарии, — хмыкнул князь, — и в самом деле, кажется, объединяются...» Солидарность — хоть куда!

На пышном обеде в Купеческом клубе Иконников скромно (он был скромным молодым человеком) призвал передовых людей сплотиться в эту трудную для народа минуту. Хотел сказать, что дает «две тысячи», но Таврический дворец был столь ослепителен, столь далек, что язык не повернулся на «две», и он размахнулся пошире:

— ...пять тысяч пудов хлеба я, со своей стороны, обещаю торжественно! Прошу поддержать меня своим мнением и капиталами...

Ответом был звон бокалов. Но губернатор все-таки прицелился точно, на двух зайцев сразу: и хлебушко будет, и в думе засядет не последний дурак. Был призван к долгу службы и Атрыганьев.

— Господин предводитель, — сказал ему князь, — погасим раздоры прежнего перед лицом общественной опасности.

Что вы делаете сейчас для того, чтобы расшевелить сонное дворянство?

– В каком аспекте? – спросил Атрыганьев.

– В самом примитивном... Пусть дворяне приудержат продажу хлеба на рынок, отсыпав толику для нужд голодающих. Ну, например, лично вы – сколько пожертвуете?

Атрыганьев долго обжуливал князя своими глазами:

– Да ничего не жертвую... Почему я должен жертвовать?

– А что было у вас на полях?

– Гречиха.

– Вот и дайте гречихи. А солома у вас найдется?

– Видите ли, – растерялся предводитель, – я бы и дал, конечно, да вот беда, уже... отправил все!

– Куда?

– В Самару, по Волге... на ярмарку, – соврал неумело.

– Весьма печально, – призадумался Мышецкий. – Но в предводители вас, очевидно, более не выберут...

– Отчего вы так решили, князь? – напыжился Атрыганьев.

– Да просто так, не выберут... за косность! Вы уж не имейте сердца, что режу правду в глаза. Не выберут...

Вскоре министерство финансов отпустило 25 миллионов на пострадавшие от голода районы. Сергей Яковлевич взял карандаш и поделил эту сумму на 20 миллионов населения голодающих губерний. Получилось, что помощь правительства заключается в 1 рубле и 25 копейках на одну голодную мужицкую душу. И, отбросив карандаш, князь понял, что за

ужас ожидает впереди Россию в этом году.

Отовсюду – через печать – сыпались призывы спасти государство.

– Машину, – ругался Мышецкий, – они хотят спасти не государство, а его машину... До понятия государства надо еще дорасти!

Но и сама «машина» разваливалась на глазах. Сияющий мир департаментов, где пишут длинные бумаги, вдруг померк, как при заходе солнца. На «машину» наваливалось «государство» – все эти рабочие заставы с красными знаменами, все эти деревни, вспотевшие от мужичьего и бабьего пота. Россия перла в революцию нещадно, словно в Драку, и «машина» засбоила, как фаворит-жеребец, на которого любители скачек имели несчастье ставить высокие ставки...

Скоро появился Такжин, председатель казенной палаты:

– Скотину-то до самого снега гонять на выпасы станут?

– Станут, – согласился Мышецкий. – А что?

– Да начали мужики гонять ее на казенные земли. Беззаконно!

– А в имениях? – спросил Мышецкий.

– Тоже выпускают на помещичьи угодья, имею сведения.

– А ранее они имели право гонять скот на казенные земли?

– Только по билету! – ответил Такжин.

– Так выдайте им билеты, и тем самым мы подтвердим согласие власти. А, спрашивается, что еще я могу вам посо-

ветовать?

Через день Такжин приплелся снова:

– Мужики, князь, билетов не берут.

– На основании?..

– На основании того, что скотине все едино, как траву жрать: по билету или без билета! Она же – неграмотна!

– И они – правы, как и сама скотина. А значит, господин Такжин, и билетов никаких не нужно... Пусть пасутся себе!..

Не зная, куда деть себя, князь отправился вечером к Бобрам.

Ох уж эти Бобры, – не люди, а замазка, и так мять можно и эдак. Любую щель ими заклеишь. Но сейчас они напуганы, не этого ждали.

– А чего вы ждали, господа? – спросил Мышецкий.

– Мы получили письмо от сестры, – сообщил Бобр. – У них забастовали водопроводчики. И теперь, пардон, сделав, что надо, бедной женщине приходится сливать из ведра.

– Господи, я согласен – это ужасно! Но нельзя же примеривать происходящее в России к масштабам нужника... – Выискивая глазами Смирнова, князь осведомился: – Как в депо? Спокойно ли?

– Пока меня на тачке не вывезли. Но вот в Москве железные дороги уже что-то намечают... Как бы не аукнулось нам в Уренске!

– А что вообще слышно, господа? – огляделся Мышецкий. – Получил только «Ведомости Санкт-Петербургского

градоначальства», да и то – старый номер... Закончилась стачка типографий или нет?

– Из Петербурга, – ответил Беллаш, – тоже вскоре газет не ждите: питерские типографщики примыкают к стачке московских.

– Удивительно! Ведь это паралич страны, как можно?

– Надо, – буркнул Смирнов, – выписывать те газеты, которые выходят исправно. «Ведомости Московские», ну и «Русский листок».

В говорильне Бобров стало напряженно...

– Что вы так на меня смотрите? – запыхтел Смирнов сердито. – Неужто в России не найдется легиона благомыслящих?

– Они, конечно, есть, – согласился Мышецкий. – Но благо ли вдохновляет их? В любом случае, кто бы ни служил панихиду павшим, слева или справа, я не встану. И я не сниму шляпы! Да, ибо эксцессы были учинены с обеих сторон. А я не сторонник разрешения социальных проблем с помощью кастета. Так уж воспитан!..

За ужином Беллаш выпытывал у губернатора:

– Не знаете ли, князь, что-либо об амнистии?

– От вас впервые слышу, прапорщик.

– Но так говорят...

– Где говорят? На базаре? Или в казарме?

Сергей Яковлевич был раздражен – Бобрами, Смирновым, тем, что прапорщик слишком фамильярен с ним. Но



гнев тут же смирил.

– Дай бог! – ответил. – Тюрьмы надобно разгрузить. Это смягчит общество. Если же вас, прапорщик, интересует мое отношение к амнистии, то я скажу так: первым велю выпустить Борисяка. И не ради того, чтобы сделать приятное вам или госпоже Корево... Нет! Просто я выражу этим поступком свою объективность...

Галина Федоровна Корево поднялась в комнаты хозяйки номеров, вдовы Супляковой; почтенная дама проверяла вслух знания своих племянников – лопоухих гимназистов, стриженных под ежа.

– Ну, говорите, нахлебники: при каких условиях состоялось восшествие на престол блаженные памяти императора Николая Первого?

Племянники отбивали как по-писаному:

– В момент роковой вести о смерти Александра Благословенного некоторые злоумышленные лица, получившие название «декабристов», имели дерзость прибегнуть к мятежным злодейским способам...

Вдова Суплякова заметила акушерку:

– Вам что, сударыня?

– Соболаговолите уступить мне номер госпожи Поповой: в моем сыро и холодно...

Она переехала в комнаты, где ранее жила Додо; прислуга быстро все убрала, вымела сор, перестелила постель. Зато пили печи. Так хорошо сидеть возле огня, когда за окнами – дождь, уже осенний, стегает в звонкие темные стекла.

Был поздний час, когда, тихо стукнув, больше для приличия, вошел человек с чемоданом.

Очевидно, прямо с вокзала, с последнего поезда.

– Ну и погодка! – сказал дружелюбно. – Здравствуйте, дорогуша. Транспортера не ждали от нашей партии? – Торопливо скинул тяжелое ворсистое пальто, поправил галстучек и потер руки, довольный. – Наконец-то добрался до вас... Чайку можно?

Поздний гость пил чай из стакана, оставив мизинец, на котором горел броский перстень с сапфиром. От мужчины пахло какой-то мастикой. Корево смотрела, как догорают синие угарные огни.

– Привез кой-какую литературку... Готовитесь ли? – спросил гость. – Суетитесь ли, мадам?

– Суетимся... – в тон ему ответила акушерка.

– Ну-ну! Дай бог... А кто вам спинку чешет, когда вы ложитесь почивать на пуховую кровать? – спросил неожиданно.

– Да никто не чешет. Сама чешусь.

– А можно, я почешу?... Хе-хе!

Корево подержала в руке раскаленную кочергу: мол, попробуйте! Глянула на чемодан с медными застежками, и гость, перехватив ее взгляд, торопливо заговорил:

– Значит, так... Москва станет центром грядущих событий. Пора выкинуть знамена! То, чего не способен свершить слабое его величество, сделаем мы сами... Вы слушаете, мадам?

– Да, да...

– Люди на местах. Оружие получим от жандармов. Это во-

прос, уже решенный свыше. А вы, мадам, сделали большую глупость, подорвав своего муженька... Сколько мелинита вы на него ухлопали?

– К чему подробности? – сказала Корево. – Вы любопытны...

– Хорошо. Когда получите права наследования капиталом, вы обязаны передать часть его на нужды нашей программы... Как работа? А что начальник жандармского управления? Было ли братание в Уренске? Это очень важно, мадам...

– Я понимаю, – улыбнулась Корево и закрыла выюшку; испачкала руку в саже и этой рукой показала на дверь: – А теперь... вон!

– Что? – вскочил гость, расплескивая чай.

– Вы не ошиблись адресом, это верно, но зато вы ошиблись адресатом. Я не госпожа Попова, которая ждала вас...

На следующий день Корево встретила с казанским прокурором Тулуз де Лотреком, рассказала подробности ночного свидания: мелинит, права наследования, Москва; прочее – все известно.

Прокурор закрыл один глаз, а другой сделал пошире:

– К чему это вам, мадам? Ведь несерьезно...

К полудню его вызвал к себе губернатор.

– У меня сейчас была госпожа Корево, – сказал Мышецкий, – женщина вполне положительных правил, не доверять которой мы не имеем права. И она поведала мне подробно-

сти, подтверждающие...

– Да, – перебил его прокурор, – я уже знаю.

– А знаете – так «пристегните» к делу.

– Но я сомневаюсь в правоте спора между этими женщинами.

– Между Поповой и Корево нет ничего общего, и спора, как такового, быть не может. Я знаю, что говорю! Хотя вы и сами понимаете, как мне это трудно... Все-таки – сестра!

– Вы ошибаетесь, князь, – возразил Тулуз, – именно между этими женщинами и могут возникнуть враждебные разногласия, ибо, да будет вам известно, они принадлежат к разным лагерям. Это же – естественно: желание социалистки Корево толкнуть и без того падающую верноподданную госпожу Попову!

– Та-а-ак... Что вы, прокурор, можете сообщить нового?

– Только то, что подследственная госпожа Попова, урожденная княжна Мышецкая, – подчеркнул он голосом родство, – настаивает на неотложном свидании со своим пострадавшим супругом.

– А господин Попов?

– Отказывает ей в свидании и уже вызвал духовника для причастия. Весьма печально, князь, но развязка близится...

Да, с Петей плохо: он умирал, ослепленные мелинитом глаза не различали уже мира.

– Через меня, – дополнил прокурор, – госпожа Попова пересылает слезные просьбы к супругу, прося принять ее на-

едине. Но эти письма возвращаются обратно нераспечатанными.

– Это его право, – ответил Мышецкий. – Читать – не читать, принять – не принять... Но то обстоятельство, граф, что вы не прислушиваетесь к сведениям госпожи Корево, не делает вам чести.

– Я провел большую работу, – покраснел Тулуз. – Можете взглянуть, князь, на список... список только опрошенных мною.

– Сорок один человек, и – кто здесь?

– Любовники уренской Мессалины, князь...

Мышецкий взял список, обмакнул перо в чернильницу.

– Номер сорок второй, – сказал князь, – вот! – И вписал в этот неприличный синодик: «№ 42. Граф Тулуз де Лотрек». – На основании сего, – сказал он в продолжение, – я, властью, мне данной, отстраняю вас от следствия по делу госпожи Поповой. Можете ехать в Казань сегодня же, а я потребую прокурора из Москвы... На этом и расстанемся, граф!

\*\*\*

В самый спокойный для царя месяц сентябрь Москва уже бурлила в забастовках, готовых выплеснуться за московские заставы, чтобы растечься по всей России.

«Барометр показывает бурю!» – предрекал в эти дни Ленин из Женевы. На заборах писали мелом и углем: «Николай

Второй и – последний!» Барометр вещал бурю – справедливо, но в предгрозовой атмосфере еще все могло измениться. Власть металась между графом Витте (с его уступками либералам) и диктатором Треповым (с его приказом «патронов не жалеть»)...

Сегодня Казимир сидел дома, слушал, как шумит самовар, играл с котенком. Захлопали двери разом – приходили деповские, терли сапогами о половики, садились на хрусткие венские стулья, гоняли жиденские чаи. Были они озабочены и осторожны.

– Что ж, – говорил им Казимир, – вопрос один: готовы ли мы, чтобы поддержать забастовку Москвы и Питера? Уренск, сами знаете, маленькая копейка. Но без нее рубля полного не соберешь.

– Оно так, – ответил Варенцов-сменщик, – да вот голодать-то не хочется. Ты, што ли, дашь мне? А – семья? А – баба?

– Осень, – сказал ему Казимир. – Ты же огород свой собрал? Картошка есть, баба варенья наварила – факт! Дровами надо всем, товарищи, запастись, чтобы потом щепки не собирать...

– Эва, – заговорили разом, – путиловцы-то не выдержали: голод не тетка! Коли бабы воют, так не ахти как бастовать хочется...

– Тряхнем, – сказал Казимир, – мощной тряхнем!

– А где она? – выкрикнул Ивасюта. – Покажи мощну свою!

Казимир подошел к комоду, щелкнул кошельком своей Глаши.

– Вот она, моя мошна! – раскрыл пустой кошелек. – И не эту мы трясти станем... А обложим налогом Гостиный двор!

– Думаешь ли? – спросили его.

– Давно думаю. Всю жизнь нас обжуливали – теперь пускай полной мерой отсыплют. Лавки будем реквизировать в нашу пользу!

– Так тебе и дали! – засмеялся Ивасюта. – Скорее – удавятся.

– Подавятся, но дадут. Мы их и спрашивать не будем...

– А поезда? – спросил табельщик Герцык. – Ни одного?

Казимир покачался на длинных ногах, глядя в пол:

– Савва считает, что дорога должна работать лишь в двух случаях: пропускать эшелоны с отпущенными со службы и... хлеб! Чего задумались, товарищи? Мы же в выгодном положении: до нас сам Трепов не доберется! Кругом – степь, пески-зернь, снег выпадет. Мы – на отшибе у империи! Гарнизон вряд ли выступит, а войска... Когда пришлют? Да мы сами не пропустим карательные эшелоны...

Сообща было решено так: подхватить в самый разгар всеобщую забастовку здесь, в Уренске, стачкой солидарности. Для начала! Чтобы прощупать власть – реакцию. А потом выкидывать лозунги: 1) свобода слова, печати, свобода собраний и союзов; 2) неприкосновенность личности и жилища; 3) амнистия всем, арестованным за политические убеж-



дения, и – последнее: 4) восьмичасовой рабочий день...

Когда стали расходиться, Казимир сказал:

– А ты, Ивасюта, повремени... Поговорить надо.

Ивасюта плюхнулся обратно на стул, крутанул кран самовара:

– У-у, жидкопляс поехал, а не чай... Ну, чего тебе? – спросил.

– Расскажи: откуда деньги берешь? На какие шиши гуляешь?

– Я не гуляю, – шмыгнул Ивасюта носом. – Так, в получку иногда. Грешу! Ну, выпьешь... Ну, граммофон с ребятами послушаешь.

– Эх, Ивасюта, – сказал Казимир, – врать ведь тоже надо уметь! Думаешь, я не знаю, что тебя с Борькой Потоцким в «Дивертисменте» видели? С чего это редереры пьешь? Ресторан – дело карманное!

– То Борька, – усмехнулся Ивасюта. – Он затащил, он и платил.

– Борька? – переспросил Казимир, играя чайной ложечкой. – Ну, ладно, пусть Борька... А ты же всегда интеллигентов не любил! Говорил, что тунеядцы, кровь сосут из рабочего класса... Что же ты, сознательный пролетарий, сейчас не гнушаешься на деньги интеллигента редереры сосать? А?

– Да так... по случаю это. Своих не было! Ну, угостил...

Казимир хлопнул Ивасюту по тяжело отвисшему карману.

– Сдай! – крикнул. – Сдай, паразит!

– Не ты дал, – вскинулся Ивасюта. – Савва дозволил...

– Теперь я за Савву! А у тебя башка на пупок завернулась. Дай!

Между ними среди недопитых стаканов и блюдеч, расписанных вишнями, несуразно лег громадный револьвер.

– Целься, – сплюнул Ивасюта. – Такого барахла с курком мне и даром теперь не надобно. Давай вот так: на двор выйдем и... (Выскочил из кармана, сверкнув никелем, браунинг.) Выйдем во двор! – заорал истошно Ивасюта. – И – кто кого? Я из этого, а ты шмаляй из своей бандуры! Ну?

Казимир заострился скулами, враз побледневшими.

– Голову расшибу, – сказал. – Уматывай, пока цел...

\*\*\*

– Дурак! – сказал Ениколопов. – Когда поумнеешь? Иди сюда.

Ивасюта робко подошел, и Ениколопов стал рвать его за уши. Драл безжалостно, как нашкодившего щенка. Потом влепил оплеуху во всю мощь своей длани и сказал так:

– Еще и Борьке твоему будет. Вы, котята, коготки свои спрячьте... Думаете – шуточки? Вон генерал Тулумбадзе одиннадцать человек на одном сучке рядом вздернул! Из-за вас, котята! Вот и вы будете знать, чем редерер закусывать... Чем закусывали? – закричал он на Ивасюту. – Небось шпротами? Дерьмо... Фруктами надо!

Ениколопов прошелся перед Ивасютой. В ночной тишине дома громко поскрипывали его суставы.

– Все можно делать в этом грязном мире, – добавил он сочно. – Но делать в меру и знать – когда. А вы обрадовались жизни, как котятка сметане. Нализались по уши – за версту видать. Прав твой Казимир, что тебя вытолкал. Вот и я, по примеру большевиков, дам тебе коленом под зад. Что будешь один делать?

Ивасюта молчал; в самом деле – одному трудно, даже городской один на один всегда справится. Руки заломит – и поведет...

– Вадим Аркадьевич, – начал вдруг Ивасюта. – Вот ты скажи мне. Только честно скажи... Не обманывай!

– Ну? Говори – отвечу.

– Все эти листки, речи, митинги – не люблю я этого. Мне жизнь мила, как сама революция. Чтобы взрывы! Чтобы выстрелы! Чтобы банки чистить у проклятых буржуев! Чтобы бабы вокруг! Чтобы вино кипело!.. Отдал – получи. Понимаю: мы же по кончику ножа ходим!

– Ну? Ходим. Так. Дальше.

– Большевики, они говорят: народ, сплочение масс, решительный момент, иксы, измы... надоело!

– Верю, миленький: голова твоя не вмещает сего... Дальше!

– Но зато они куда-то ведут. Куда-то призывают народ...

– В казарму коммуны, всех на один паек! Дальше.

– Пусть так – в казарму так в казарму. Зато хоть ясно – куда. А вот ты, Вадим Аркадьевич, скажи – куда ты ведешь нас?

Ениколопов посмотрел на Ивасюту – как на пададь.

– На кладбище веду, – ответил (и ногою – шарк!). – Не угодно ли, мсье Ивасюта, прогуляться на кладбище? Вот туда и катимся. И я, и ты, и все глупое человечество...

– Не шучу ведь я, – надулся Ивасюта. – Дело спрашиваю!

– И я не шучу, – построжал Ениколопов. – Петля шутить не дает. Но мы сейчас с тобою, товарищ Ивасюта, велики уже тем, что противостоим целому миру – миру обжорства, козней и надувательства! Мы не говорим, а – делаем. Не дай бог, чтобы подобные Борисяку пришли к власти. Пайка идей и хлеба не устроит меня, свободного человека! А потому будь же ты, Ивасюта, господином положения в революции: стели жандарма на землю, рви бомбу под чиновником, оттолкни большевика прочь... Ты – истинный революционер!

– Вот и выходит, – задумался Ивасюта, – как бы без мотива...

– Один мотив есть: напряжение власти. Натяни ее до предела, как резинку, и она – лопнет. Тогда останешься только ты, и все человечество замрет, пораженное тем, что ты, Ивасюта, сделал!..

На следующий день Ениколопов как бы ненароком заскочил в номера Супляковой, быстро взбежал по лесенке в комнаты Корево.

– Моя славная коллега, – сказал он с чувством, – мне как старому социалисту-революционеру, невзирая на все внутрипартийные осложнения, все-таки хотелось бы помочь вам... – Он стянул перчатки. – У нас, – продолжил, – даже есть точки соприкосновения, вполне ощутимые в общей борьбе. Мы, эсеры, как и вы, большевики, объявляем решительный бойкот жалкой думе!

Он мог бы говорить еще очень долго, чтобы вызвать Корево на беседу, но акушерка и сама не стала больше молчать.

– Вы правы в одном, – заметила. – Сейчас усилия партий должны быть в единении... Но что именно привело вас ко мне?

Ениколопов сел – он любил все делать без приглашения с чужой стороны. Сел и поиграл носком нарядной туфли:

– Суть моего прихода такова... Не могу ли я помочь чем-либо господину Борисяку? Очевидно, вы достаточно извещены, что я до ссылки работал как раз по устройству эксов, побегов и террору? Что ж, не буду скрывать – я считался мастером. Только условие: все я проведу со своими людьми – без ваших. Ваши не способны!

Мочки ушей женщины стали красными, как рубины.

– Одна, – сказала Корево, – я не могу решить этот вопрос.

– Понимаю. Справьтесь же у товарищей, и я еще зайду к вам...

Казимир внимательно выслушал акушерку, загорелся тоже:

– Надо обсудить. Да и как Борисяк посмотрит? У него ведь с Ениколоповым нелады. Еще с чиновной службы!

– Ждать нечего, – настаивала Корево. – Дремлюга вот-вот отправит Савву в Казань. Борисяка в этом вопросе слушать не стоит: к чему споры прошлого, когда речь идет о жизни?

Был спрошен об этом и прапорщик Беллаш.

– Пусть, – сказал офицер, подумав. – Да, пусть Ениколопов попробует. За эсерами много громких дел, а мы способны начать освобождение только из сибирской ссылки. И я полностью согласен с вами, Галя: Борисяка надо поставить лишь перед решением ячейки, а в этом вопросе не слушать...

В глухом подземелье жандармского застенка Савва Борисяк тряс тюремную решетку: «Не подпускайте Ениколопова к революции! Что вы делаете, товарищи? Опомнитесь...»

\*\*\*

Самый мощный профсоюз – железнодорожников, ибо в его власти остановить жизнь России, бойко отстукивающую на рельсовых стыках.

Седьмого октября забастовала Казанская дорога, потом Ярославская. Самая главная дорога в стране – Николаевская, связывавшая столицу с Москвой, еще колебалась: бастовать или выждать?

Но под напором профсоюза сдалась и она: стравив пар из

горячих котлов, паровозы застыли на путях. Министр путей сообщения, князь Хилков, каким-то чудом (чуть ли не на дрезине) пробрался в бастующую Москву. Он знал, что рабочие-путейцы относятся к нему, как к бывшему машинисту, с уважением, и рассчитывал сломить забастовку угрозами. Но слова были бессильны...

Тогда князь Хилков решил действовать иными доводами. Прямо с митинга, охрипший от речей, он поднялся в паровозную будку, нагнал пар и повел локомотив через щелкающие стрелки. Рука в лайковой перчатке потянула реверс, взревело стальное чудо над фабричными окраинами, над заглохшими дачами обывателей.

Хилкову казалось, что армада железным машин тронется за ним – за князем, и дорога между Москвой и Петербургом снова оживет... Бросив кидать в топку уголь, министр выглянул в окно. Мокрый снег бил в лицо, резало глаза изгарью. Нет, никто не ехал следом за ним. Хилков остановил локомотив, соскочил на шлаковую насыпь и съехал вниз. У самой канавы, затянутой ледком, он понял свою наивную тщету и заплакал от обиды...

Так самодержавие лишилось дорог в империи!

Теперь, после Портсмутских переговоров, все выше всходила, красновато отсвечивая, звезда Сергея Юльевича Витте – графа «Полусахалинского». Люди, со страхом взиравшие на происходящее в России, прочили графа в премьеры. Булыгин не отличался смелостью, но рядом с ним вырастал, как будущий министр, Дурново.

Витте афоризмов (вроде «патронов не жалеть») после себя не оставил. Он говорил монотонно и логично; смысл его речей перед царем сводился к тому, что нельзя разрешить проблемы страны путем вооруженного погрома. Витте очень не любил, когда рабочих расстреливали, и сурово осуждал палачей. Он сам хотел расстреливать рабочих, и очень был сердит, когда его осуждали за это...

– Изю всего этого, – говорил в своем Уренске губернатор, – я делаю вывод, что вскоре начнется чехарда. И мы, пожалуй, впервые удостоимся быть управляемыми правительством коалиционным! Но как Витте умудрится сокупить деяния думы с хамскими замашками Дурново – это одному всевышнему известно!

Служба, исключая некоторые частности, не доставляла ныне Мышецкому прежних тревог. Катилось все по старинке, по тропкам, укатанным еще предшественниками, и реформировать как-то не хотелось. Сейчас, когда вся Россия



напряглась для борьбы, смешными казались бы его потуги изменить облик Уренской губернии – да шут с ней, пусть ждет своей очереди, когда неизбежное случится!..

Пришел в один из дней октября Чиколини с бумагой.

– Князь, уделите... – начал.

– Времени нет!

– Нам не времени – денег бы.

– Денег – тем более. А на что они вам, деньги?

– Да вот лошади тех черкесов, кои по вашему приказу из Больших Малинок в острог посажены... Сено жрут...

– Черкесы?

– Нет, лошади.

– Надо говорить понятнее. Ну и что?

– Дополнительную смету подписать извольте, князь.

– Ох, господи... Давайте! – Подписал, не глядя – сколько там и чего, потом глянул в календарь. – Десятое, быстро летит время, Бруно Иванович. У нас в депо не волнуются? Тихо?

– Так, «летучки» бывают, – ответил Чиколини. – Но теперь такая уж Россия пошла, князь: в баню ходят реже, чем на митинги. Ну, мои городовые разве что для порядку – свистнут...

– А что ваши городовые? Каково настроение?

– Да в профсоюз желают вступить... – Чиколини преданно мигал глазами – черными, выпуклыми, добрыми, как у коровы, которую мало бьют и много кормят. – А что удив-

ляться, князь! – говорил рассудительно. – Ежели семинаристы бастовать стали, то почему бы и нам профсоюз не составить? Случись, черепушку проломают в сваре – от начальства кот наплачется. А тут, глядишь, из кассы профсоюза трешку-то и скинут! Все жить веселее...

– Вы мне смотрите, – пригрозил Мышецкий. – Все хорошо в меру. Власть должна оставаться нейтральной, на то она и власть!..

Вернулся с телеграфа Огурцов; по его бритому, как у старого актера, дряблему лицу стекали струйки дождя.

– Есть что-либо? – спросил его Сергей Яковлевич.

– Есть. Только что получили, князь...

Мышецкий с удивлением прочитал следующее:

«...все дороги кроме финляндской приказчики конки Харькове Екатеринославе серьезные события здесь пока и только столкновений нет ожидают важных актов. Разграблен арсенал Зимний дворец разрушен обуховский завод обращен в крепость рабочие стреляют по войскам из пушек убито пятнадцать инженеров и восемь евреев...»

Это было чудовищно – по безграмотности, по вздорности.

– Разве же это мне? – дивился Мышецкий. – Провокация...

Порвал бланк на мелкие клочки, швырнул в корзину.

– А знаете, господа? – сказал, подумав. – Ведь в этой су-

мятице вздора уже что-то чувствуется. Мне даже не передать вам смысла этой странной телеграммы. Одно могу сказать точно: потрясение России уже обозначилось... причем – резко!

Тишь и гладь да божья благодать в Уренске оборвались в этот день убийством в тюрьме – уголовные бандиты убили политического заключенного. Сергей Яковлевич сразу примчался в острог, где его, как всегда, любезно встретил смотритель.

– Капитан, – спросил князь, – как это случилось?

Шестаков охотно рассказал:

– Двенадцать тридцать – гуляет политика. Тринадцать – сволоту нашу на двор выпускаем. Вот в этот промежуток, князь, когда камеры были открыты, и произошло...

– Чем убили?

– Стеклом, князь. Прямо шею ему всю изорвали!

Губернатор сидел на табуретке посреди комнаты для свиданий. Толстые решетки вязали окна в тесный узор. Потрескивала печка, и торчало из нее обугленное полено. Было угарно и постыло.

– Пойдемте, – сказал князь, поднимаясь.

Шестаков, громыхая ключами, семенил – след в след, как собака.

– Убитого смотреть будете? – спросил из-за спины.

Мышецкий отвечал ему, не поворачивая шеи, втиснутой в узкий и жесткий от крахмала воротничок:

– Нет. Не буду. К какой партии принадлежал убитый?

– Семь лет имел. Три года на поселение, – рассказывал Шестаков. – Питерский, с Путиловского. Организация забастовок. Федор Зайцев. А партия – большевик!

Напряжением памяти Мышецкий восстановил в своей голове посещение тюрьмы в день приезда в губернию и спросил:

– Зайцев... тот, который отказался от претензий?

– До претензий ли тут, князь!.. – вздохнул в ответ Шестаков.

Князь расспросил, какие были открыты камеры в момент убийства, где выбито стекло и прочее. Подозрения привели не в общеуголовные камеры, а именно в те, где сидели арестованные при облаве обираловцы (публика свойская).

Всю эту «сволоту» погнали из камеры в коридор ударами кулаков и резиновых трубок. Ставили лицом к стенке – в ряд.

При обыске нашли все, что надо: осколок стекла, который как раз подходил к оконному вылому, большой запас водки, самодельные картишки, скрытые под кирпичом в печи...

– Ну и всякая там еще мелочь, – закончил доклад Шестаков.

Сергей Яковлевич показал ему свою чистую ладонь:

– Проверьте руки. Убитый наверняка сопротивлялся... Следы!

Порезы на руках от стекла оказались у трех бандитов.

– Кандалы! – топнул Мышецкий. – Всех трех...

Потом думал: какой смысл? Просто так эти гоп-господа не убьют человека. Зайцев не таков, чтобы допустить общение с обираловцами. Правда, князь уже знал: уголовные мстили «политикам» за то, что надзор полиции в связи с растущей революцией усилился за всеми слоями общества. Хватали революционеров – верно, но зато стали чаще хватать и уголовников – это тоже так... «Не месть ли?» Сергей Яковлевич глянул на вскрытые топором нары, в тайнике которых лежали, как селедки в бочке, одна к другой, синеватые бутылки с сивушной «ликвой» (нарушение государственной монополии).

– Плохо, плохо следите, капитан, за порядком, – выговорил он Шестакову. – А ну-ка, покажите мне «мелочь»...

К нему подгребли разбросанные по углам тряпье, рвань, мусор. Носком ботинка князь разворошил этот хлам и... вытянул «Плач святого Иисуса Христа по Народу Русскому». Еще поворошил – и еще нашлась такая же мерзость. Аккуратно собрал всю литературу.

– Вот вам и политическое убийство, – сказал. – Разве не видите, капитан, что эти бандиты – с тенденцией? Держать закованными. В темном карцере. Без окон. Без прогулок. Кормить через день.

– Не имеем права, князь, – потускнел Шестаков.

– Право – это я!

Трех закованных убийц, с непривычки спотыкавшихся в кандалах, тычками в шеи погнали в канцелярию.

– Как прикажете оформить? – спросил капитан.

– Как политических! – И, взяв трость, Мышецкий удалился...

Дремлюге, при первом же разговоре об этом случае в тюрьме, он внушил так:

– Сила моя в том, капитан, что я объективен. Карать буду одинаково – и слева, и справа! Если повесили Каляева за убийство великого князя Сергея, то почему, скажите мне, надо миловать убийц рабочего? В любом случае – убийство по социальным мотивам!

– Какое там социальное! – отмахнулся Дремлюга. – Что вы, князь?

Тогда Мышецкий разложил черносотенные листки, изъятые при обыске камеры обираловцев, и спросил жандарма вежливо:

– Неужели не узнаете того станка? И шрифт, и краска, даже вывихи в печати – одни и те же... Так вот, милейший капитан, знаете ли вы, кому я буду писать, когда мы расстанемся?

– А кому, князь?

– Я буду писать самому Петру Николаевичу...

– Дурново-то? – сразу притих Дремлюга.

– Именно так, – самому Дурново, с нижайшей просьбой, чтобы меня избавили от такого жандарма, как вы! И пусть добрый Петр Николаевич распорядится о замене вас другим – более деятельным!

Письма к Дурново он, конечно, не написал — лень было.

\*\*\*

Дремлюга вышел от Мышецкого в половине четвертого, в четыре он навестил Додо в садике при полиции, а вечером Шестаков сообщил князю, что трое убийц Зайцева лежат в карцере — уже мертвые.

— Посинели, князь, изbleвались — и каюк!

Было ясно, что в подземелье Уренской губернии ворочаются темные, гадливые силы. Противостоять им трудно. Они солидарны и гораздо активнее его, губернатора...

В пустом и печальном доме, где вещи напоминали о покойном Симоне Геракловиче, ему было даже хорошо. Кутаясь в теплый халат, Мышецкий разгуливал от печки к печке, у каждой грелся. Блуждал по звонким пустым комнатам, слушал бой часов, размышляя. Вспомнил и телеграмму, полученную утром. Разве можно понять что-либо? Нет, только одно: власть мечется, поезда не ходят, заводы стоят, Витте станет премьером, Дурново будет моим министром, Булыгина в архив, патронов жалеть не станут.

И вдруг этот влахопуловский дом показался ему таким страшным, таким мертвым. Захотелось бежать куда-нибудь в сияние огней, к шелестам одежд, к живой человеческой речи. Быстро скинул халат и велел запрягать лошадей. «Пока-тай!» — сказал князь кучеру...

Но кататься было уже холодно, завернули на вокзал. До отхода последнего поезда оставалось что-то около часа. Сергей Яковлевич зашел в ресторан, от скуки выпил стопку водки, без аппетита съел что-то невкусное. Выбрался на перрон, забитый кладью. Квохтали в клетках куры, визжали в мешках поросята. С громадными мешками на спинах тыкались в разные двери мужики, растерянные:

– Степан, да не туды! Слышь? Не нужно там, не нужно...

На спине – мешок, в руках – по сундуку, под локтем – по три буханки хлеба. А через шею каждого – связки гремучих баранок. И все это везется в деревню: на радость семейству.

– Степан! – громыхал сундук. – Кажись, вот где нужно...

– Жандарм, – позвал Мышецкий, – да покажите вы этим олухам нужник. А то ведь в каждую дверь лезут... мешают службам!

Присел на лавку под большими часами. Рядом устроился хилый, затрушенный чиновник-путеец. Зажимал меж ног тяжелый мешок. Встряхивая кулечек, доставал из него изюминки, мелко жевал, услаждаясь. И вспыхивала при отблеске паровозных огней его кокарда на помятой путейской фуражке. Мышецкий кивнул на мешок:

– На зиму запасаетесь?

– Мучка, – ответил тот. – Пять рублей дал... Вот она! Много ли? Да сапог, видите, каши просит? – Чиновник отставил ногу (языком болталась отлетевшая подметка), пожалел себя.



– Вы местный? – спросил Мышецкий (чиновник не знал его).

– На разъезде служу. Кой год! Сорок восьмой километр – к часу ночи доберусь. Жена, детишки. Да скворец – такой забавник!

– А разве на зиму этого хватит? – спросил Мышецкий.

– Не на зиму, сударь, – пояснил путеец. – Это мы чтобы не подохнуть, на забастовку запасец делаем. Жена посоветовала!

Сергей Яковлевич поразмыслил над таким наивным признанием: жена, дети, ученый скворец и вдруг... забастовка! Везет к себе на разъезд мешок муки специально, чтобы бастовать во всеоружии...

– А разве, – спросил князь, – вопрос о забастовке решен? Вы, сударь, очевидно, большевик?

– Нет, сударь, я сам по себе... – Чиновник прощупал кулечек до дна – пуст и, скомкав, отбросил его. – А вот посудите сами; как тут жить? Мучица – пять. А получаю – двадцать. Опять же, и сапоги... видите? А вычеты? За то, за это, за здорово живешь. Бывает, флажком поезду махнешь, а харя небрита – с тебя взыщут...

– И когда же думаете начать?

– Подхватим! – охотно сказал путеец. – Скоро...

– Что подхватите?

– Москву да Питер... Сейчас уже до Казани дошло!

– Но требования у вас чисто экономические? – спросил

князь.

– У меня-то – да. Кошельковые. Однако вот амнистию я тоже буду приветствовать. Потому как у меня племянник, Сережа Бутаков такой... Не слышали?

– Извините, сударь, не слышал.

– Так вот его, сударь, Сережу Бутакова... Неужто не знаете?

– Да нет. Не имел чести знать, с чем бы?

– Его в «Крестах» кой месяц уже томят. А матушка его, сестрица моя родная, убивается... Как же я, сударь, теперь не поддержу политические требования? Вестимо поддержу!

Мышецкий отошел от путейца. Да и что было ответить ему? Пусть со своей колоколенки, маленькой и неказистой, но он – прав. И самое удивительное, что сейчас даже эта чиновная мелюзга («двадцатирублевая», как их зовут) и та вдруг заговорила о требованиях. «Чего же тогда ожидать от простых рабочих?..»

Вышел с вокзала на площадь – пустынную. Мокли коляски да вкусно жевали лошади овес из брезентовых торб. Перед ним лежал темный, затаенный город – столица его Уренской губернии, громадной и еще не освоенной русским человеком. Подозвал кучера, сел под кожаный намокший верх. Хотелось куда-нибудь себя деть, запихнуться в теплую квартиру с умными, образованными людьми. Поговорить, посудачить – свободно, открыто, как в Англии. Но Уренск – увы! – небогат клубами...

Извозчик, перебирая вожжи, терпеливо ждал.

– А! – сказал Мышецкий, отчаясь. – Вези в «Аквариум».

Пожалуй, только в «Аквариуме» и можно отвести душу, измученную сомнениями. Хотя пьяное, но искреннее слово прозвучит лишь здесь. Едва князь сел в уголке, как увидел Иконникова-младшего: молодой человек порывисто шагнул через весь зал прямо к нему.

– Сергей Яковлевич, вы ничего не слышали? – спросил интимно.

– Да нет. Получил сегодня утром одну бестолковую телеграмму, и – все! А разве...

– Да! В Петербурге уже началось. Позвольте, я присяду?

– Ради бога, прошу. А – Москва?

– Москва первая и начала, еще с сентября... Конки стоят, водопровод отключен, рестораны закрыты. А для борьбы со стачечниками в Москве спешно образуют «дружины порядка». Говорят, они вооружены через полицию... Скажите, князь, а что у нас?

– Вы же видите! – кивнул Мышецкий в галдящий зал ресторана. – У нас «Аквариум» работает, воду сливают как надо, на конках по-прежнему ездят «зайцами» и... Знаю наверняка: скоро будет у нас хорошо подготовленная деповскими забастовка!

– Спасибо, – захохотал Иконников. – Вот уж не ожидал... А откуда прольется свет, как говорят масоны?

– Из депо, конечно. Вы что, не знаете? Ого... Там сидят

такие корешки, что Сущев-Ракуса, дантист изрядный, все клещи себе обломал, а не вытащил... Клыкастые господа!

Когда к губернатору, угодливо изгибаясь в чреслах, подкатился Бабакай Наврузович, чтобы услужить лично, Иконников удалился.

– Ай-ай, – сказал татарин, – пора уже и нам в дружину порядка записаться. Как в Москве – так и у нас пусть будет!

– Вы, Тамерлан Чингисханович, – резко ответил Мышецкий, – в русский огород не суйтесь. Существует в губернии власть, которая и обеспечит порядок. Да и не вы ли давным-давно уже записаны в «колдунчик» патриотов? А если так, так чего же волнуетесь?..

А в другом конце ресторана увеселялся, как мог, Ениколопов.

– Николай, Николай! – то и дело подзывал он лакея.

Явился запаренный лакей, да не тот – другой Николай.

– Ты разве Николай?

– Нас двое, – отвечал лакей, – а я буду Николай второй...

Ениколопов расшалился: на спине фрака у одного лакея он написал мелом «Николай I», на спине другого – «Николай II».

И начал:

– Николай второй, где же ты? Дай пепельницу, зверь!

Лакей подставлял для пепла свою ладонь лодочкой – Ениколопов, радуясь, отряхал сигару. Сергей Яковлевич мигнул кому надо (а таких он уже научился определять с первого

взгляда), приказал:

– Оскорблять его величество – глупо... Пресеките немедленно!

Но никто эсера не пресек. Так и сидел Мышецкий над своей тарелкой, мучительно страдая от ужасных непотребств Ениколопова.

– Николай второй! – кричал эсер. – Дуй за девочками...

Полиция безмолвствовала. Лакей, загнув штанины брюк, скакал через лужи улицы – за девочками, в ближайший при-  
тон.

Было скучно.

Немецкие колонисты вооружились первыми: у них все было наготове от суматошных российских случайностей, но мешаться в русские дела они не собирались – просто стояли на страже своих латифундий. Однако прислали к губернатору своего парламентаря, и Мышецкий сказал ему так:

– Благодарю вас за доверие к власти, но можете передать своим землякам, что, если они не сдадут оружие к вечеру, все вы будете этапным порядком высланы на родину. Вы сами откуда?.. Ах, из Баварии? Как это чудесно, – улыбнулся князь, – вот как раз в Мюнхен мы вас и вышлем... Здесь вам, господа, не Гереро в Африке!

Атрыганьеву же, боявшемуся немцев, он объяснил так:

– Я давно уже знаю за немцами эту склонность: *aus der Noth eine Tugend machen!* – И тут же перевел, не надеясь, что Атрыганьев знает немецкий: – Они любят из чужой нужды делать для себя добродетель. Но это пусть их не касается... Мы – не негры!

Предводитель мялся, чего-то не договаривал, было видно, язык у него чешется, и Сергей Яковлевич помог ему:

– Борис Николаевич, вы, кажется, хотите что-то сказать?

– Видите ли, – начал Атрыганьев, – сейчас творятся такие события... Трудно воздержаться и быть спокойным, князь.

– Трудно, – кивнул Мышецкий, поигрывая карандаши-

ком. — Революционеры в Москве уже предъявляют права на разгон Московской думы. А городского голову, князя Голицына, я знаю: милейший человек, знающий театрал; и мне его искренне жаль...

— Не о том я, князь, — поправил его Атрыганьев. — Разве же вы не заметили, что «Союз освобождения» и «Союз земских конституционалистов» сливаются воедино. И скоро, очевидно, на Руси появится новая мощная партия, которая и приведет страну к порядку...

Князь знал, что эта новая партия будет называться «Партией народной свободы». Или конституционно-демократический (сокращенно КД). Кто-то уже привесил им броскую кличку — кадеты.

— Желательно бы и мне, — раскрыл свое сердце предводителю, — посильно участвовать. Посильно стоять...

И карандашик выпал из рук Мышецкого: он был готов к чему угодно, только не к подобному выверту. Русские люди в большинстве своем путаники, способны кидаться из одной крайности в другую.

«Но это... это уже — наглость!»

— Борис Николаевич, — сказал князь, — вы меня поражаете. Не вы ли заложили в Уренске первый кирпичик той бешеной организации, которая ныне приносит мне столько огорчений? Не вы ли, милейший, развалили дворянскую прослойку, превратив дворян в спекулянтов зерном и дровами? И вдруг вы, даже не краснея, заявляете о своем желании со-

трудничать с такими лицами, как Муромцев, как Набоков, как Винавер... Что это – ренегатство или прозрение?

– Мы... поладим, – сказал Атрыганьев, не смутившись; пошел было к дверям, но задержался. – Соответственно, князь, – добавил со значением, – и выбранным в Государственную думу желал бы... Вместо купчишки Иконникова! Как вы смотрите на это, князь?

Дурак сам проболтался, и Мышецкий сразу развеселился.

– Попробуйте, – ответил. – Схватитесь... Кто кого?

Затем он долго размышлял о думе: странно, она бойкотировалась большевиками, но крестьянство надеялось, что именно дума разрешит вековечный вопрос о земле. Так уж получалось: рабочий говорил о демократии, а крестьянин – больше о хлебе насущном. «Все это скушно, – решил Мышецкий. – Скушно и надоело до чертиков...»

Неожиданно явился генерал Панафидин, и Сергей Яковлевич почтительно поднялся ему навстречу:

– Вы так торжественны сегодня, генерал... Что-нибудь случилось из ряда вон выходящее?

– Да, – сказал Панафидин. – Дело в том, что сегодня я пришел попрощаться с вами, князь, ибо с сего дня с армией покончено! С ней я уже распрощался – выхожу в отставку.

Никогда Мышецкий не был близок к «генералу-сморчку», но уход Панафидина с поста командующего Уренским военным округом был нежелателен, опасен, чреват осложнениями и прочее.



– Ваша отставка, генерал, надеюсь, не связана с болезнью или какими-либо служебными недовольствами?

– О нет! Я ухожу по доброй воле...

Сергей Яковлевич был взволнован. Все-таки, пока сила штыков подчинялась этому человеку, князь был спокоен – штыки находились в «кузлах». А теперь... «А что теперь?»

– Я объясню вам, князь, причины моей отставки, – разгадал его настроение Панафидин. – Ни годы мои, ни болезни, ни что-либо иное меня не тяготит. Я слишком люблю русскую армию, русского солдата, Россию... Поэтому-то, князь, и ухожу.

– Да. Понял. Вас беспокоит – не повернут ли армию противу народа? Но, мне думается, до этого абсурда не дойдет.

– А почему? – спросил его «генерал-сморчок». – Если девятого января они решились на преступление, то почему, мыслите вы, не решатся и сейчас? Я не желаю... Я уже старик и не желаю принимать участия в этом всероссийском позоре. Позоре армии, которая воистину велика и которую пожелают направить противу народа, тоже воистину великого! Я помру с чистой совестью, князь.

– Кто остается за вас? – печально спросил Мышецкий.

– Самый старший в гарнизоне – Семен Романович Аннинский, но заместит меня полковник Алябьев...

– А я с ним даже незнаком. Каковы его взгляды, генерал?

– Вполне умеренны, и бояться насилия с его стороны не надо. – Панафидин поднялся, рывком натянул перчатку. –

Впрочем, князь, вопрос о насилии – ваше право! А полковник Алябьев – верный слуга престолу, и он готов исполнить любой приказ свыше...

\*\*\*

Забастовка в стране становилась всеобщей, и знамя ее несла старая Москва – город как бы вымер, только при слабом пламени вздрагивающих свечей в университете и училищах проходили мятежные митинги рабочих, чиновников и студентов. В плеяду бунтующих провинций 14 октября вступила и Уренская губерния: гудок депо ревел от вокзальной площади – страшно и люто, празднуя забастовку, и наконец осип, потерял голос – замолк...

– Вот и все! – поднялся Мышецкий, оборачиваясь к иконе. – Не миновала, господи, и нас чаша сия...

Выглянул в окно: далеко-далеко, за куполом собора, тянулась под облака кирпичная труба депо, и, прилипая к ней, букашкой карабкался человек. Добрался до вершины трубы, и в небе Уренской губернии зацвел красный цветок рабочего знамени...

– Дремлюгу! – сказал Мышецкий.

– А я уже здесь, – поклонился ему жандарм.

Сергей Яковлевич дольше обычного протирал стекла пенсе и без того ослепительно сверкающие:

– Ну-с что скажете, капитан?

– А вот теперь-то я скажу, ваше сиятельство, – приосанился Дремлюга. – Вы только сердца на меня, князь, не имейте. Но будь вы пожестче, и ничего бы этого в Уренске не случилось!

– Вы капитан, совсем не диалектик...

– Где уж нам! – протянул Дремлюга, обидясь.

– И вы не понимаете, – продолжал князь, – что в истории есть моменты, которые нам не подвластны. Сколько ни шамань в темном лесу вокруг гриба, он все равно будет расти. Так предопределено самой сутью природы – и не нам, капитан, исправить ее!

– Чепуха, – возразил жандарм. – Шаманить и не надобно. Просто прихлопнул каблуком – вот и пошел расти ваш гриб. Обратно – в землю, князь! Вот какова моя диалектика...

Сергею Яковлевичу этот бесплодный разговор надоел:

– Что-нибудь желаете предпринять?

Дремлюга, глядя в окно, посулил снять флаг.

– Это лишь деталь, – поморщился Мышецкий. – А еще что?

– Деталь важная. А больше... да ничего, князь!

– То есть как это... ничего? – возмутился Мышецкий.

Дремлюга отвечал – с убийственным спокойствием:

– У меня порядок такой. Объявил голодовку – пожалуй-ста, не хочешь и не жри, нам больше останется! Сейчас наш «дядя Вася», пролетарий, работать не пожелал – не надо, не работай...

Сергей Яковлевич понял, что за этой бравадой стоит оглядка жандарма на Москву и Петербург: уж если там, в столицах (под боком правительства), генералы корпуса жандармов не могут справиться с революцией, то... «Что же требовать от уренского капитана?»

– Выпить хотите? – предложил Мышецкий.

– Как вы сказали, князь? – обомлел Дремлюга.

– Я предлагаю вам выпить... За порядок!

– В беспорядке-то? – усмехнулся жандарм. – Ну, выпьем...

– За Аристиды Карпыча, земля ему пухом, – поднял рюмку князь. – Вот он бы сейчас что-нибудь да придумал... Извернулся бы!

Дремлюга поперхнулся коньяком, зашипел, гримасничая:

– Ударьте меня, князь, ударьте... сильнее! – Мышецкий треснул жандарма по хребту, и коньяк проскочил, как по маслу. – А что? – задумался капитан, отдышавшись. – Что бы он мог придумать? И даже Борисяк здесь ни при чем, революция без него движется...

И вдруг разом погас в присутствии свет.

– Огурцов! Созвонитесь со станцией – что у них там?

Огурцов, споткнувшись в темноте о порог, скоро вернулся:

– Телефоны, князь, тоже... мое почтение! Бастуют.

Мышецкий длинной тенью обозначился на фоне окна:

– Капитан, разве забастовка не ограничится одним депо?

Огурцов, прильнув к стеклу, взгляделся в улицу:

– Баста! Конки тоже стали, лошадей выпрягают, сбрую режут...

Дремлюга хватил еще стопку, искал в потемках фуражку.

– Вот это крепко! – сказал он. – Но еще крепче закончится. Жрать захотят – и снова, князь, свет включают, барышня на телефоне соединит, а паровозики – ту-ту, поедут... Нет такой забастовки, ваше сиятельство, которая бы не имела конца!

\*\*\*

Конечно, жандарм прав: забастовка – явление временное. Но в самой стихийности событий было что-то зловещее, и красный цветок над городом распускался в ночном небе. Проезжая через город, Мышецкий подсознательно отмечал признаки нового в его облике: на табуретках (чтобы дальше видеть) стояли городовые; митингов не было, но толпы теснились на бульваре. Ну что ж! К шестидесяти тысячам верст железных дорог России, застывших в покое, сегодня прибавилось еще шестьсот сорок верст бастующей Уренской губернии... «Аквариум», конечно, работал. Как-то повышено, издерганно и пьяно вела себя публика. Сотенные шуршали нежно, платья дам тоже шуршали вызывающе. Музыка гремела, лилось вино – самое дорогое. Бабакай Наврузович пожинал сегодня небывалые барыши, «Николай» – в поту!

Иконников-младший, однако, был трезв и спокоен.

– Что у Троицына и Веденяпина? – спросил его Мышецкий.

– Говорят, завтра будут снимать.

– Снимать... Как это понимать, Геннадий Лукич?

– А так: деповские устроят митинг на фабриках и, если уговорить не удастся, силой заставят бросить работу...

Из отдельного кабинета вывернулся, словно хороший штопор, Дремлюга; заметив князя, зашептал в ухо тяжелым перегаром:

– Кое-что придумал. Некогда. Извините. Бегу. Завтра узнаете...

На следующий день забастовали частные фабрики Троицына и Веденяпина. Будищев повысил своим рабочим ставки, и его мастерские продолжали дымить: у него народ был «кошельковый». По этому случаю в Купеческом клубе с утра пили, пели и плакали. Срочно были вызваны арфистки, но вместо звучного наплыва арф слышались визги, жеребячий топот – шел шабаш святотатственных радений...

Сергей Яковлевич пригласил к себе Чиколини, напомнил ему, что пенсия зависит только от него, воззвал к мужеству.

Бруно Иванович сказал:

– А вот вам и новость, князь: все лавочники тоже забастовали. Замки – во! И хлеба в городе купить негде...

Мышецкий вспомнил: жандарм посулил ему вчера в «Аквариуме», что все будет в порядке. Вот и способ, который

должен помочь ему гасить забастовку, голод. На это губернатор распорядился так:

– Заставьте каждого лавочника под расписку отказаться от забастовки. В противном случае – так и передайте – я заведу на них дело, как на злостных стачечников. А под статью эти господа не захотят попадать. И незачем бойкот называть им «забастовкой»!

Замки с лавок уже сбивали рабочие. Торговцы снова вынуждены были встать к прилавкам – волею судеб революции они попались между двумя жерновами – жандармом и губернатором.

– А тебе чего, баба? – И рука привычно вертела кулек...

Дремлюга разбежался к губернатору с выговором:

– Князь, как можно? Всю компанию мне поломали. Я вчера своих сто рублей истратил, поил мелочь базарную в кабинете отдельном, а вы... Я же договорился! Нехорошо так-то, князь!

– Хорошо, капитан. Хорошо! – ответил Мышецкий. – Давить революцию голодом – самая низкая мера. Я бы не уважал себя, прибегни к этому способу. Не спорьте... А флаг, я вижу, вы еще не сняли?

– Скобы худы, труба старая, – отнекивался Дремлюга, хмурый.

– Так не вам же лезть по худым скобам на старую трубу!

– Оно и так. Да четвертной сулил – не берутся... Высоко!

– Добавьте еще четвертной – полезут.

– Придется. Да где я денег наберусь? Вчера сто, сегодня...

Сложились на красное знамя: жандарм дал четвертной, губернатор от себя выложил – только бы снять поскорее! Глаз резало...

Мышецкий велел Огурцову никого не допускать.

– Хоть камни с неба, – сказал, – никого... Я буду составлять отчет в министерство о забастовке...

Работал он недолго. Сначала думал развернуть отписку в подробный доклад с описанием условий, при каких забастовка возникла. Но потом князю пришла мысль, что он не один губернатор на Руси, таких много, и почти все губернии в стране бастуют. Так стоит ли напрягать ум, чтобы метать бисер, который никого в министерстве не удивит и не восхитит. Ограничился телеграммой, – кратко и хорошо.

– Отправьте, – велел Огурцову, но курьер вернулся с телеграфа, сказав, что «не берут, забастовали!». – Лошадей! – сказал Мышецкий. – У вас не берут, а у меня возьмут, как миленькие...

На телеграфе одиноко сидел дежурный чиновник.

– Вы понимаете смысл вашего отказа? – обрушился на него князь. – Телеграмма государственного значения, а не признание барышне в любви, и вы, сударь, с огнем играете...

– Все сознаю в полной мере, князь, но таково решение Уренского Совета рабочих депутатов, – ответил телеграфист.

– Это еще что такое?



- Совет создан по примеру Петербургского, князь!
- И кто же может решить с отправкою телеграммы?
- Очевидно, председатель – Казимир Хоржевский...

Вскоре Хоржевский навестил взбешенного губернатора.

- Совет рабочих депутатов, – сказал машинист, – полагает

разумным изъять из гарнизона сотню «желтых» казаков, во избежание излишнего кровопролития, князь!

Мышецкий через пенсне долго разглядывал новую власть:

- Сотня может быть стронута с места только по моему приказу. Насилие же я сам отвергаю. Причин для кровопролития не вижу! А у меня, господин Хоржевский, просьба... – Бросил на стол телеграммы, так и не отправленную. – Надеюсь, – сказал, – ваш премудрый Совет одобрит эту записку, составленную в простоте ума нашего?

Казимир понял издевку губернатора, но решил быть умнее. Взял телеграмму, прочел:

- А отчего и не отправить?... – Карандашом тут же начертил в уголку: «Отправь. Казимир». Положил бланк обратно перед князем: – Пожалуйста. Ваши телеграммы будут отправляться, как всегда. Мы же понимаем – служить вам тоже надобно...

- Не понимаю! Отказываюсь... Кто управляет губернией?

- Вы, конечно. Вы – губернатор, и вы управляете губернией. А мы только революцией в Уренской губернии. Примите меня, князь, как неизбежное явление новой жизни...

Мышецкий подчеркнуто официально поклонился через

стол:

– Покорнейше благодарим вас! Наконец-то вы открыли мне глаза. А флаг ваш обязательно должен висеть? Или позволите снять?

– Флаг революции будет висеть, – ответил Казимир.

Мышецкий подумал и вдруг весело рассмеялся.

– Ладно, – сказал. – Капитан Дремлюга его снимет!

\*\*\*

На фоне этих великих событий, потрясавших великую державу, меленькой жилкой, готовый вот-вот оборваться, билась жизнь княжеского шурина – Пети Попова. Был уже поздний вечер.

– Князь, – сказал, придя, Чиколини, – понятых надобно...

– Для чего, Бруно Иванович?

– Петр Тарасыч дали свое согласие на свидание с супругой...

Это предвещало дурной оборот: Петя при смерти, а Додо настойчива и в глазах мужа всегда неотразима, как Клеопатра для Антония. «Как же ей удалось? – думал Мышецкий. – Плохо, плохо...»

– Что ж, возьмите в понятые и меня, – попросил князь.

Вторым понятым был выбран дворник больницы, случайно подвернувшийся под руку Чиколини. Лошади притащили полицейский шарабан, соскочили с запяток конвойные, и по

ступеням сошла Додо...

Мышецкий замер при виде своей сестры.

– Авдотья, – поднял он на нее глаза, – здравствуй.

– Здравствуй, брат, – еле слышно ответила Додо...

Видно, что к этому свиданию она готовилась изрядно. Костюм почти театральный, сама же бледная, робкая и покорная. Мужчины шли следом за нею по длинному коридору больницы, а впереди, вся в черных шелках, быстро выступала Додо; в руке она держала молитвенник, с запястья свешивались, бренча, четки. Никто не предупреждал ее – Додо вдруг сама, повинуясь интуиции, остановилась возле дверей палаты, именно той, в которой лежал Петя.

– Здесь? – шепнула она и побледнела еще больше; в этот момент она была хороша, очень хороша... Даже прокурор подбоченился, а дворник стал сморкаться в передник, заворачивая его к носу от самых колен.

– Хоре-то, – говорил он, – хоре-то какое, хосподи...

Петя лежал на белом, из белых бинтов глядел один жуткий глаз его, как линза, и торчала из повязки, обветренная и подсохшая, кость руки. Он увидел Додо, и глаз его сразу зажмурился, плавая в слезах. Додо кинулась к постели, упала в ногах и вдруг поползла к мужу – дергаясь коленями, бормоча. Руки ее всплескивались – бились над головой, как два крыла. Первое рыдание Додо огласило палату – почти вопль!

Припав к Пете, она шептала и шептала. Прямо в этот одинокий глаз, а из-под маски зашевелились Петины губы, что-

бы начать разговор...

– Прокурор! – сказал Мышецкий, и прокурор со страхом выгнулся над упавшей Додо, припадая ухом к губам Пети. Выслушал его и медленно выпрямился... Мышецкий тронул его за рукав мундира: – Что вам сказал господин Попов?

– Он просит оставить его с женой наедине.

Петя снова что-то заговорил. Прокурор опять его выслушал.

– Что? – спросил Сергей Яковлевич, напрягаясь.

– Петр Тарасович снова просит не мешать ему...

Все, кроме Додо, удалились из палаты. В коридоре больницы, возле Чиколини, стоял Ениколопов.

– Вадим Аркадьевич, – подошел к нему Мышецкий, – как вы мыслите, сколько осталось жить моему шуруну?

– Дней пять-семь, не больше, а в чудеса я не верю...

Сергей Яковлевич вытер набежавшую слезу: «Бедный Петя!..»

Из палаты чуть слышно доносился журчащий шепот Додо: она говорила, говорила, говорила... Шло время...

Двери вдруг распахнулись вразлет – Додо!

Решительно и резко смотала четки с руки:

– До свиданья, брат, – и пошла, быстрая, стройная...

Гуртом все повалили обратно в палату. Петя разжал черные губы и сказал – внятно:

– Моя жена невиновна... Кто оклеветал ее? Почему я не верил? Прости мне, господи, грех великий...

– Записать? – глянул на губернатора прокурор.

– Исполняйте обязанности как положено.

– Ваша фамилия?

– Акинфиев буду, – ответил дворник.

Рука прокурора строчила по бумаге: «В присутствии понятых, князя Мышецкого и дворника Акинфиева, сего дня...»

– Невиновна, – шептал Петя, – снимите оговор с нее... Не мучайте ее боле, мою Додушку... Бог простит вам, люди!

Мышецкий не выдержал – вышел из палаты. Подписал протокол в коридоре, после дворника. Лучше бы и не шел в понятые: не пришлось бы тогда уносить камня на сердце. На улице прокурор сказал:

– Ваше сиятельство, отныне вступают функции исполнительной власти, кои, согласно снятию оговора, должны непременно обеспечить и снятие ареста с госпожи Поповой, иначе...

– Поступайте, как знаете, – рассеянно ответил Мышецкий, и тем закончился этот день, очень тяжелый...

Никто еще не знал, куда повернет правительство, на что решится самодержавие, полностью парализованное всеобщей забастовкой. Не знал этого и князь Мышецкий – кандидат правоведения, камергер двора его величества, уренский губернатор и коллежский советник, кавалер орденов и прочее... – Я уже ни во что не верю! – говорил он.

Император, учтя богатый опыт истории, держал в Петергофе наготове быстрокрылую яхту, дабы не повторить глупой ошибки французского короля. Курс проложен заранее – в Англию, и все эти дни министры добирались до Николая II по воде. Поезда не ходили даже в дачные поселки, столица империи тонула во мраке, телефоны не работали. Министры поддерживали связь с императором лишь на пароходике придворного ведомства.

Правительство раздирало: одна часть стояла за военную диктатуру, другая – за введение конституции, которая, словно горчичник, смогла бы оттянуть жар революции от Петергофа, где, отчаявшийся, задерганный и несчастный, проживал император.

– Ники, – говорила ему супруга, – будьте же наконец Иваном Грозным! Хватит колебаний. Не забывайте: вы не одни, у вас семья!

Министр торговли и промышленности доложил, что общее число бастующих в России превысило два миллиона человек, стачка в Польше и Закавказье уже переросла в вооруженное восстание. Ивану Грозному (если и стараться быть на него похожим) было гораздо легче: «Гайда, гайда!» – крикнет, ручкою «клювик» сделает, и душили боярина, второго на части рвали, третьего жарили, четвертого в кипящем мас-

ле варили... «Но все-таки – не два же миллиона!»

Еще 9 октября Витте испросил себе аудиенцию у царя – и снова требовал уступить духу времени. В большой и красной руке Сергея Юльевича трепетно вздрагивала записка: конспект уступок российскому обществу. Николай выслушал и сказал:

– Может, целесообразнее основание вашей записки опубликовать в виде манифеста? Конечно, не от вашего имени, а – от моего?..

В семье царя великий князь Николай Николаевич, человек вспыльчивый, твердил о том же:

– Государь! Эшелоны из Маньчжурии задержаны революцией, войска ненадежны, гарнизон столицы едва ли справится со смутой... Ради бога, подпишите, что дает Витте! Или я пушу себе пулю в лоб!

Все знали – пустит, он таков: в отца, тот был тоже крут. А за окнами Петергофа лежало серое взбаламученное море, где-то вдалеке громыхал Кронштадт, косо летали зябнущие чайки. Для императора не было уже тайной, что он народу своему ненавистен; в сановниках и близких людях он возбуждал чувство жалости, презрения; в лучшем же случае к нему относились равнодушно... В эти дни, при соблюдении полной тайны, Николай II начал знакомить своих министров с виттевским проектом манифеста.

Придворный пароходик, скрипя шпангоутами, тянулся от невской пристани у сената в мглистый залив – к Петергофу.

Сказочным видением спокойного прошлого блеснет искоркой купол Стрельнинского дворца, потянутся вдоль желтого берега заброшенные дачи...

Сыро, холодно и неудобно в родимой России! Качает паровоз, плещут мокрые шторы, ляскают при крене двери, обшитые инкрустациями, мечутся над головами министров шелковые абажуры. Сквозняк рвет и треплет листок календаря, на котором дата – 15-е число октября месяца 1905 года. День как день...

Министр императорского двора барон Фредерикс, как бывший кавалерист, еще держался на ногах при качке, остальные катались по диванам, цепляясь за тонкие ажурные пиллерсы, сенатора Вуича несло в открытый иллюминатор. Зеленый от качки, он сказал:

– Князь, читайте далее вы – я не могу!

Князь Алексей Оболенский вслух, с выражением, читал строки будущего манифеста. Свобода слова, собраний, печати... Затиснувшись в угол, граф Витте слушал свое произведение. Странно звучали здесь слова манифеста, палуба выскальзывала из-под ног, меркла вдали Ижорская земля.

Фредерикс, дослушав, сказал:

– Вся беда в том, господа, что войск не хватает для установления твердой диктатуры. Временно, но нам предстоит подвинуться.

– А я, – заметил Витте из угла, – не приму поста премьера, пока мой проект не будет одобрен его величеством...



Манифест дописывался и уточнялся на пароходе. Спешно правили его на ходу, под сильным ветром, уже на досках птергофской пристани. Витте подкидывал в руке громадный портфель, ветер рвал с будущего премьера России легонькое пальто.

– Думу, – кричал он на ветер, – придется, господа, сделать не совещательной, а – законодательной!.. Увы-ы, но так!

Снова совещания. Опять великий князь кричал, что пулит в лоб себе пулю. Министры жаловались, что постыдно им, министрам, плавать по воде, как матросам. Алиса Гессенская взывала быть Иваном Грозным, а вдали грохотал броней ненадежный Кронштадт.

Закончился разговор, как всегда, милостивейшим обещанием.

– Если я решусь, – сказал Николай, – я дам вам знать, господа, к вечеру... Непременно! Такова моя воля...

И, как всегда, не дал. А революция наседала: бастовали уже гимназии, банковские служащие, сберегательные кассы, даже чиновники министерства финансов... Наступил день 17 октября – знаменательный для России. С девяти часов шла в Александрии (летней резиденции императрицы) глухая возня, перешептывания, экивоки, испуги, страхи. Ждали Витте, но теперь он, как хозяин положения, не спешил – прибыл лишь к вечеру: новый премьер нового правительства! Манифест был отпечатан пока только на пишущей машинке...

Император поводил пером, готовясь подписать.

– Ваше величество... – напомнили ему сбоку, из-под локтя.

– Ах, да! – Император встал, быстро перекрестился, и толстый палец Витте твердо стукнул по бумаге:

– Здесь, ваше величество...

Обратно в Петербург Витте возвращался вместе с великим князем, который уже не говорил, что пулю в лоб пустит, – напротив, Николай Николаевич был весел, шутил, послал в буфет за шампанским.

– Ну, граф, сегодня мы швырнули революционерам хорошую кость. Вот с такими махрами мяса... Пусть глодают теперь!

За бортом кипело, шипя, как шампанское, Балтийское море. Вдалеке, через кругляк иллюминатора, уже выросал темный, словно заброшенный, Петербург – бывший «парадиз», столица империи.

Николай Николаевич вдруг хлопнул себя по крепкому лбу.

– Ба! – сказал. – Сергей Юльевич, сегодня ведь семнадцатое октября, и вы, граф, можете отметить замечательный юбилей...

Витте вспомнил, что действительно ровно семнадцать лет назад, 17 октября 1888 года, скромный путеец Сережа Витте предсказал крушение царского поезда в Борках. Ему тогда не поверили, катастрофа случилась, и гигант-алкоголик им-

ператор Александр III на своей могучей спине держал крышу вагона, пока из-под нее не выползли все члены его семейства... Но теперь-то, когда он предсказал фамилии Романовых худшую катастрофу, ему все-таки поверили, и вот результат: манифест подписан, а он отныне – премьер империи!

Вот и Нева, сенат, пристань... Подали сходню матросы.

\*\*\*

Из Петербурга в Москву чудом прорвался телефонный звонок.

– Записывайте! – крикнули. – Мы отныне свободные граждане...

Стачечный комитет заседал в Москве, когда в зал ворвался адвокат Тесленко – объявил:

– Только что получено сообщение из Петербурга: император подписал манифест, дарующий нам свободы и конституцию! Слушайте...

Торопливо он прокричал первый пункт манифеста:

– Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов...

И билась в истерике одна женщина:

– Верните мне мужа! Мужа... Он пошел на каторгу как раз за такие же слова! Как раз за такие... Я требую от царя!

Переглядывались, хмуро и озабоченно, бастующие рабочие:

– Мы в листовках такое печатали. А тут сам царь говорит?..

Манифест стал публиковаться, но связь между городами была разорвана, печать работала с перебоями, и до провинции весть о манифесте доходила сильно искаженной. Поначалу власти, напуганные «свободами», сознательно искажали слова царского манифеста. Но всем стало понятно: самодержавие отступает. В первые же часы после появления в Женеве текста манифеста Ленин записал: «Мы имеем полное право торжествовать. Уступка царя есть действительно величайшая победа революции, но эта победа далеко еще не решает судьбы всего дела свободы. Царь далеко еще не капитулировал...»

Трудно, очень трудно, по разоренной и возмущенной стране двигался манифест – в глушь провинций. Мышецкий уже потерял всякую надежду получить в руки истинный текст этого документа. Телеграф молчал. Но brave генерал Тулумбадзе каким-то аракчеевским способом умудрился вырвать из Москвы полный текст царского манифеста. И тут же переслал его прямо в соседний Уренск – губернатору.

Кажется, это было его первое и последнее доброе дело, какое он сделал в своей brave жизни. Вечером того же дня вошла к нему, бледная как смерть, горничная, раскрыла розовые лепестки губ и шепотом повторила несколько раз, вся

сжимаясь:

— К вам... к вам... к вам...

Из-за плеча барышни выставились три браунинга и загрохотали выстрелы.

\*\*\*

Сергей Яковлевич в который раз перечитал манифест. Все, о чем мечталось ему, за что на банкетах пилося, вот же оно! — лежит на столе перед ним, подтверждающе, обнадеживая, радуя...

— Господи, — заплакал он, — свершилось... Огурцов, где же вы? Что вы шкаф открываете? Зовите чиновников — читать станем!

Чиновники, безлико и суетно, выстроились вдоль стен кабинета.

Возвышенно и проникновенно читал им князь манифест.

— Вы свободны! — сказал он им. — Вы осознаете, господа, всю значимость этого великого момента?.. Привлечь теперь же... те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав! — Ошеломленный сам, он ошеломлял и других: — Никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы, и это значит, господа, что наши уренские депутаты там, в думе, не будут совещаться бесцельно, но — законодательствовать!..

Громадный булыжник, залетев с улицы, вдребезги расса-

дил окно и, кувыркаясь, пролетел вдоль ряда будущих избирателей.

– Огурцов! Сохраните этот камень... для потомства. Пусть он напоминает всем нам о мрачных временах бесправия. Но этот документ успокоит все страсти, примирит все партии, загасит любую смуту. Поздравляю вас, господа, с актом примирения народа русского с царем русским! И – с новым вас правительством: отныне у нас в России – премьер... граф Витте!..

Через разбитое активуями окно широко задувал мокрый ветер октября. Бастующие наборщики согласились за ночь размножить манифест о даровании свободы большим тиражом...

– Кабаки закрыть! – распорядился Мышецкий. – Флаги! Как можно более флагов – пусть Уренск празднует...

Чиколини под расписку обязал домовладельцев о вывешивании флагов, как в царские дни. Город еще на рассвете стал украшаться трехцветными полотнищами: синяя полоса, белая полоса, и в середине – красная, самая вызывающая...

– Бруно Иванович, – сказал губернатор полицмейстеру, – внушите всем околоточным и городовым, чтобы они в случае манифестаций не оказывали сопротивления, а, наоборот, содействовали бы порядку... Вы, Бруно Иванович, полностью прочувствовали манифест?

И горестно вздохнул липецкий мечтатель:

– Конечно, ваше сиятельство. Прочувствовал.

– Супруга ваша читала тоже?

– Читала, ваше сиятельство. Но так как в манифесте о пенсии чинам полиции ни слова – то, вы сами понимаете, князь, женщина есть женщина... Ее удивить трудненько!

Вскоре на дворе участка, крытом горбатым булыжником, были созваны чины полиции и дворники. Торжественно сверкали бляхи.

– Потому как ныне свобода, – слабенько заявил Чиколини, – то в морду «кубаря» совать воздержитесь. Ну, а ежели демонстрация предвидится, уклоняющихся от нее оповестите повесткой!

Из толпы, блещущей бляхами, задали деловой вопрос:

– А за кого ходить теперича станут на демонстрациях этих?

– Как это – за кого? – обомлел Чиколини. – Чей манифест, за того и ходить надо. А вы проследите... Чтобы флаги, чтобы стекол не колотили, чтобы стройность, чтобы портреты его величества были приличны... В рамках стандартного образца! Еще вопросы?

– Есть! А вот коли «Марсель и слезы» затянут? Тогда как?

– Тогда слушай. Твое дело маленькое. Не хочешь слушать – не надо. Потому как, повторяю, ныне новый клин вышел – свобода!..

С толками о свободе расходились городовые по своим «табуреткам», разбрелись по своим подворотням медлительные дворники в валенках с дюжими галошами, как гуси лап-

чатые. Рассуждали:

– Кудыть идем? Кудыть движемся? Не иначе, Петра, будем мы жить, как лорды в Англии. Кажинный день по селедке съедать будем.

– Эх, выпить бы! И што это у нас губернатор смурной. чуть што – сразу замок на питейное вешать. Видано ль дело, русского человека лишать выпивки? Какая же слобода, ежели и выпить нельзя... Опять же, посуды, дядя Ваня, казне-то – убыток!

– И не говори, Филимон! Ей-ей, куды ни глянешь, куды ни повернешься, кругом – убыток. Сплошной убыток! Вся наша жисть есть убыток, и никаких доходов в дальнейшем от слободы не предвидится!

А в середине дня Мышецкий наблюдал через окно, как за две четвертных лез какой-то босяк (босой – для цепкости ног) на трубу депо. Лез снимать красный флаг! Был один жуткий момент, когда вырвалась из-под него скоба. Удержался. Прилип к кирпичам. И так и остался там – на страшной высоте. Ни вверх, ни вниз. Никуда. «Что с ним? Шок? Страх?» Раздались трели пожарных троек. Выставили длинные лестницы. Отодрали босяка от трубы. Но флаг так и остался висеть над городом – над флагами империи...

– Что с ним случилось? – спросил потом князь у Дремлюги.

– Штаны испортил, ваше сиятельство. Заколел так, будто я его на храм послал крест святой сдернуть!



– А почему же пожарные флаги не сняли?

– Отказались, князь.

– Почему?

– Говорят – свобода. Кому что нравится, князь...

Сергей Яковлевич пробарабанил пальцами дробь по столу.

– Как же мы раньше не подумали? Ведь пожарные-то правы... Почему бы флагу рабочих и не висеть, капитан? Пусть висит по праву свободы. Снять его – значит нарушить первый пункт манифеста, подписанного его величеством... Так?

– Моя хата с краю, – ответил жандарм. – Я гореть стану последним на деревне. А первым-то – вы, ваше сиятельство!

\*\*\*

Путаясь в полах тяжелой лисьей шубы, перешел границу молодой и привлекательный человек. На пограничной станции он пил чай, потом сел в поезд. Вылез в Петербурге на Финляндском вокзале, зашел в ресторан. Долго и внимательно прислушивался к разговорам официантов. Чаще всего срывалось с их языков слово «амнистия», и человек в гардеробе, когда ему подали шубу, дал рубль на чай.

– Греши и далее! – сказал весело. – Амнистия все спишет...

На площади перед вокзалом, воровато озираясь, он на-

нял пролетку. Высоко поднял воротник шубы, пряча лицо. Перед ним взлетал к небу горбатый Литейный мост. Слева краснела кирпичом тюрьма «Кресты», за мостом тянулась тюрьма подследственных. Петербург бастовал. Было неуютно за нарядными витринами. Возле Колокольной человек в шубе велел остановить пролетку напротив общественной уборной. Вылез.

– Погоди, Ванька, – сказал кучеру. – Я сейчас...

Извозчик терпеливо ждал. Мимо проехал его земляк.

– Кой час? – спросил. – Эй, Ефимушко?

– Да, кажись, шестой кокнулся!

– Тороватый ли седок попался?

Поманил к себе, подъехал тот, и – на ухо ему:

– Скажу тебе, куманек родима-ай, будто я самого Гапона сейчас везу... Одна шуба – чего стоит!

В эти дни всесильный Трепов вынужден был покинуть свои диктаторские высоты – он занял пост коменданта Зимнего дворца. Но, покидая Олимп диктатуры, он перетащил за собой и все особые ссуды на секретную агентуру. И вот именно эти жирные деньги (отпущенные царем на борьбу с революцией) собачьим нюхом почуял издалека поп-расстрига Георгий Гапон...

– Поехали дальше, – сказал он, влезая в пролетку. – Ну, чего смотришь? Ты не бойся – я добрый: простых людей люблю...

После убийства тургайского генерал-губернатора степной край получил крутой крен влево...

Из Тургая до Уренска доходили путанные вести: о разгроме тамошней тюрьмы, о разоружении полиции; власть в Тургае перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов...

В середине дня, когда Мышецкий, как всегда, ничего не делал, над Уренском рассыпалась пулеметная дробь. Пулемет захлебывался где-то за Меновым двором – словно задыхающийся от бега человек. Сергей Яковлевич издали наблюдал, как зигзаги очередей, скобля деповскую трубу, подбираются все выше и выше... Красное полотнище, такое дразнящее, вдруг пошатнулось, и ветер понес его над городом, как воздушного змея. Пулемет, дожевав ленту, заглох.

– Узнайте, – наказал губернатор Огурцову, – кто осмелился отдать приказ о стрельбе?

Оказалось, что из пулемета лично строчил полковник Алябьев.

– Что ж, – сказал князь, – придется с ним побеседовать...

Алябьев – плечистый красавец с первой проседью в гладкой прическе; роскошная нагайка и кожаные леи, вшитые от колен до паха, обличали в нем любителя верховой езды.

– Я согласен с вами, полковник, – говорил князь Алябьеву, – что красный флаг был неуместен. Но сейчас, в священ-

ные дни конституционной свободы, ваш решительный жест никак не оправдан.

Полковник вскинул руки, как бы берясь за невидимую гитару.

– Представьте, что я играю, – сказал он, шевеля пальцами. – Но одна рука у меня придерживает струны. Чтобы не испортить музыку. Так и в этом случае: не каждая струна, князь, звучит хорошо в этой «свободе». Я ее немного придерживал... Пулеметом!

Из дальнейшего разговора выяснилось, что солдаты Уренского гарнизона предъявили петицию: выпускать их в город и не стричь им волос. До этого Мышецкий редко встречал солдат на улицах: они – на радость командованию – тихо и смирно сживали по казармам, чистя свою амуницию.

– Милостивый государь, – сказал князь полковнику, – султан Абдул-Гамид, уж на что зверь, и то выпускает своих янычар побаловаться на зеленую травку. Мы же, слава богу, не турки!

– Стрижка – гигиенична, – ответил Алябьев в сторону.

– Не спорю. Но свободного человека не надобно стричь по шаблону. Свободный человек сам желает избрать себе фасон прически... Восстание на броненосце «Потемкин» тоже началось с пустяков: нашли в мясе червей. А затем увидели и позор самодержавия. Тысячи мелких оскорблений складываются во всеобщий протест народа!..



Мышецкий все эти дни ощущал неповторимое страшное одиночество. Мело и мело за окном. Горела перед ним свеча – такая старомодная: витая, желтая. «Как жаль, что я не играю в карты, – решил нечаянно, – все бы лучше убить время!...» А над городом колыхались торжественные флаги империи. Подняв барашковые воротники, городовые величественно озирали уренские просторы. Шлялись по улицам разболтанные, с оторванными хлястиками солдаты. Обыватели варили бражку, и воздух был насыщен спиртом, как винный погреб.

– Боже мой, какая тоска, – сказал Сергей Яковлевич. – Ну, стоило ли мне забираться в эту дыру? Сидел бы в департаменте...

Позвал «драбанта», и они выпили. Жевали сыр и маслины. Мышецкий, выплюнув горькую косточку, сказал:

- До Тургая можно добраться на дрезине, а там...
- Нет, князь, от Тургая поезда больше не ходят.
- А хорошо бы выбраться. Хоть на два дня... в Казань!
- Э-э-э, князь, да в Казани сейчас такая революция...
- Тьфу ты! В самом деле, сиди здесь и помалкивай.
- Верно, князь: у нас еще любо-дорого, другие позавидуют...

Мысли губернатора перекинулись совсем в другую сторо-

ну.

– А об амнистии, – спросил, – ничего не слышно?

– В Москве не вытерпели – сам губернатор, говорят, ездил и освобождал «политику» из тюрем. Амнистии и ждать не стали.

– А кто там сейчас?

– Джунковский в губернаторах.

– Надо ждать, – ответил Мышецкий. – Какой день?

– Пятница. Вы уходите, князь?

– Да. Пойду. – Долго совал ноги в галоши, стучал и топал, еще дольше заматывал шею. – А знаете, Огурцов, – сказал вдруг, – вот с Конкордией-то Ивановной жизнь была веселее...

– А коли так, – ответил Огурцов, – так чего же вы Жеребцову изгнали? Без женщины трудно управлять губернией!

– Кстати, – поморщился князь, – а что в Малинках?

– Не слыхать. А – что? Может, приманить госпожу Жеребцову?

– С чего вы так решили, Огурцов? Не надо... Я пошел!

Пошел в говорильню – к Бобрам. Не было вождя – «вождь» его, князь Сергей Трубецкой, лежал глубоко под землей на кладбище Донского монастыря, укрытый по иронии судьбы красными лентами венков...

У Бобров его встретили, как всегда, восторженно:

– Вы слышали, князь? Неужели не слышали?

– А что случилось, господа?

– Баумана убили в Москве.

Сергей Яковлевич долго думал. Потом просто спросил:

– Бауман... А кто это такой, господа?

– Ну как же! – подхватили Бобры хором, стыдя князя. – Ведь Бауман... это такой человек, его вся Россия знает...

Но по глазам Бобров было видно, что и они только сегодня узнали имя Баумана. «Зачем лгать, господа?..» Сдернул кашне.

– Вся Россия знает, – сказал резко, – но я, простите, не знаю. Однако буду благодарен, если расскажете!

\*\*\*

– ...это очень серьезно, – говорил Мышецкий на следующий день, очень взволнованный. – Вы даже не можете себе представить, капитан, насколько все это серьезно!

– Да о чем вы, князь? – удивился Дремлюга.

– Все о нем... о Баумане! Важно ведь что? Не столько этот Бауман, о котором я не имею ни малейшего понятия, сколько сам факт убийства его!

Дремлюга тряхнул квадратными плечами:

– Можно подумать, князь, слушая вас, что вы не ведали об убийствах слева... Ого! Еще сколько! Не дуйте на воду, ваше сиятельство, не придется вам тогда и на молоко дуть...

После этого разговора, очень острого для обоих, Мышецкому привелось снова встретиться с Алябьевым.

– Полковник, – заметил ему Сергей Яковлевич, – мне не совсем-то приятно видеть толпы солдат на улицах. Что за зверский вид! Шапки набекрень, все нараспашку, хлястики вырваны с мясом... Я против выравнивания людских голов под одну гребенку, но солдат есть солдат!..

– Верно, – кивнул полковник. – Солдат есть солдат. Но я послушался вас. Теперь они не сидят в казармах, как сычи, а гулять изволят... Ага, думает солдат, теперь свобода! Ну-ка, расстегни мне хлястик, а то давит. Ах, болтается? Ну, так рви его с мясом. Чего считаться? Свобода... Так-то вот, князь, и начинается разложение армии! После этого я спрашиваю вас снова: стричь солдата или не стричь?

– Что вы можете предпринять, полковник... помимо стрижки?

Алябьев молодцевато прошелся перед князем, поскрипывая леями:

– Могу отпустить по домам запасных. Железнодорожные батальоны ненадежны. А больше ничего не могу. И не берусь!

– Но эти части подчинены лично Семену Романовичу?

– Инженер-генерал-майор Аннинский, – ответил Алябьев, – тоже мало надежен. Но ему не скажешь! А солдату можно сказать: «Кругом! И езжай к своей бабе – на печку!» Запасные, князь, сплошь из мастеровых. Отбывали работы в депо! Теперь вам понятно, откуда идет эта зараза? И почему они, именно они, менее всего надежны?



Сергей Яковлевич согласился, что это так, и – спросил:

– Не можете ли вы, полковник, своей властью запретить солдатам посещение митингов? (Алябьев долго не отвечал.) Можете или не можете? – снова настоятельно спросил его Мышецкий.

– Нет, не могу, – мрачно ответил Алябьев. – Меня смолоду, еще с кадетского корпуса, приучили к мысли: никогда не отдавать приказов, которые – заведомо известно – не будут исполнены!

Сергей Яковлевич вспомнил о сбитом флаге и невольно перевел взгляд на окно, чтобы посмотреть в сторону депо. А там из высоченной трубы валил густой черный дым – работу начали цеха.

– Смотрите, полковник! Что бы это значило?

– Только одно, князь, конец забастовки...

Мышецкий был обескуражен хаосом непонятных для него событий. И смущенно заметил:

– Все это странно. Могли бы и предупредить, как губернатора!

– А вы, князь, – улыбнулся Алябьев, – все еще считаете себя губернатором? – И улыбка его была нехорошей, с наглостью.

«Ах ты мерзавец!» – подумал князь и бросил в лицо:

– А если я не губернатор, то, простите меня, с кем же вы тут битый час разговариваете?..

Паскаля доили издавна: покойный Сущев-Ракуса, потом капитан Дремлюга. Сосали его, алчно прильнув к деньгам, черносотенцы и крайние левые всех мастей. И никто не говорил просто: «Дай – или прихлопнем как муху!» Нет, все возводили пышные зámки идейных соображений. Понемногу Осип Донатович освоился в программах правой и левой кривизны, от которых коробило Россию, и уже хорошо отличал – по одним словесам! – активуя с идеями князя Александра Щербатова от анархиста, говорящего о том, что диалектика анархии учит трясти наемников капитализма...

Но сегодня пришли три человека в масках (четвертый, помахивая браунингом, остался в дверях на страже) и, не изложив никакой программы, заявили Паскалю:

– Показывай... Ключ! Чего тянешь? Ты не тяни...

Было еще раннее утро, Осип Донатович только что встал. Подштанники спадали с его острых бедер, ладошками он прикрывал срамное место.

– Господа, – заметил Паскаль, – так нельзя! Вы хоть сообщите, какая партия? Надо же знать фирму, куда я вкладываю сбережения!

– За фирму не волнуйтесь, – ответил один, беря ключ от несгораемого шкафа, и в прорези маски блеснули молодые, как будто знакомые Паскалю, глаза. – Фирма у нас самая на-

дежная!

– Мы безмотивцы, – пояснил второй с акцентом, и Паскаль сразу оторопел: «Никак это Моня из аптеки?»

– Безмотивцы, – призадумался Паскаль. – А это что такое? От дверей подал голос, помахав браунингом, четвертый.

– Ты ведь – спросил, – ничего нам худого не сделал?

– Ничего, кажется, – ответил Осип Донатович.

– Вот! А мы тебя рванем без всяких мотивов. Просто ты для нас лакей проклятого царизма, и такого мотива вполне достаточно, чтобы тебя угробить...

Осип Донатович натянул штаны.

– Ну-ну, ребята, – сказал он. – Помогай вам бог!

Из раскрытых ящиков бюро сыпались бумаги. Валились под ноги бельгийские акции стекольных заводов. Рылись!

Паскаль взвесил как следует все обстоятельства и заговорил так:

– Эх, Боря, Боренька! Тому ли тебя учили в гимназии? А ты, Монечка? Неужели тебе, бедному еврею, больше всех надо?

Боря Потоцкий, оправясь от смущения, перебрал связку ключей:

– Осип Донатович, гимназия – дело прошлое. А – какой поворот?

– Влево и трижды назад, – пояснил Паскаль охотно. – После чего ключ продвинуть вперед. И снова два оборота направо...

Несгораемый шкаф сулил немалые деньги, о богатстве Паскаля ходили по губернии легенды. Ключ провернулся. Гулко и музыкально перемещались внутри замка стальные пружины. Паскаль вздохнул и спокойно начал натягивать хрустящую сорочку.

– Готово, – сказал Сева Загибаев. – Открывай...

Открыли. Чистота. Порядок. И никаких денег!

Только в уголку лежала коллекция порнографических открыток, и они были тут же экспроприированы в пользу революции. Сева Загибаев, запихивая открытки в карман, укорил Паскаля.

– И не стыдно вам? – сказал. – Ведь это же разлагает...

– Что делать? – вздохнул Паскаль, завязывая галстук.

– Ключ! – Вернул Боря ключ. – Спасибо, Осип Донатович!

– Спасибо и вам. Не забудьте надеть галоши перед уходом...

Надо отдать должное Паскалю: вел он себя с мужеством, какого от него никто не ожидал. Очевидно, отсутствие денег в шкафу делало его не в меру храбрым. Ениколопов и сам знал, что в такие времена даже банки ненадежны, и никогда не рискнул бы послать «котят» на облаву. «Котята» действовали на этот раз сами по себе – без указаний безмотивного «центра». Вот и попались: вместо тонкой, продуманной игры, какую начал вести Ениколопов, они сунулись к Паскалю нахрапом: мол, давай – и все!

– Боря, – сказал Паскаль, затворяя двери, – передайте по-

клон матушке. А ты, Моня, отложи-ка для меня коробочку спермина, я завтра зайду... Ай-ай, такие молодые и красивые люди! И не могли даже мотива для себя подыскать. Ведь это же – разлагает...

Спровадив молодчиков, Паскаль потерял свою доблесть и стал мелко вздрагивать. В одном был уверен: Дремлюге – ни звука. Сейчас с такими вещами не шутят, а то и впрямь прихлопнут, как муху. Старый жулик Осип Донатович даже завидовал «безмотивной» молодости. «Легко работают – без напряжения мыслей!» В этот день он щедро отвалил на дело монархии двести рублей, и Ферапонт Извеков благодарно сверкнул новыми вставными зубами:

– Ну, Донатыч? Мы тебя в книгу запишем. Есть у нас такая с золотым обрезом, куды мы всех патриотов закатываем!

– Не надо, – отвечал Паскаль, вздрагивая. – Дешевой популярности ищу... Но... страдаю! Нельзя ли мне охрану обеспечить?

Три хулигана, во главе с Сенькой-Классиком, засели на кухне. Пои их и корми теперь. Паскаль сейчас невольно держался за кончик той ниточки, которая уводила его к Ениколопову, к ограблению банка в Запереченске, к тем одиннадцати повешенным...

Но Осип Донатович был терпелив и умел молчать. Иначе он был бы плохим жуликом. Революции приходят и уходят, а деньги всегда остаются – таков был ход его мыслей. Титулярная гнида свято верила в незыблемость великой империи, и

знала, что после революции его акции, как патриота и верноподданного, подскочат еще выше.

«Ничего, доите меня, господа! Переживем!»

\*\*\*

После неудачного экса поехали в захудалый «Дивертисмент», заказали пива и солянку. Сидели, положив руки на грязную скатерть, глядели исподлобья на публику. Загибаев под столом – на ощупь – разряжал бомбу-самоделку. Далеко-далеко кричал паровоз.

– Почтовый, – сказал Ивасюта, сдувая с пива пену. – Предпоследний вагон можно кокнуть.

– И что? – спросил Загибаев; отвинчивая запал, он потел от страха.

– Деньги... бумаги, там много чего найдется, в почтовом-то!

Боря Потоцкий без аппетита черпал ложкой золотистую солянку:

– Вот что я скажу вам, друзья! Не лучше ли это дело бросить? Ениколопов, может, и славный эсер. Но как-то все подозрительно. Где святость революции?.. Не лучше ли нам вернуться?

– Куда? – спросили его хором.

– Обратно – к Казимиру, с повинной. Мол, так и так, ну, зарвались, больше не будем... Ну, пусть товарищи нас судят!

Боря выпалил это, и вдруг прямо в живот ему тупо ткнулось дуло револьвера. Стол был накрыт скатертью, и Боря не мог разгадать – кто грозит ему смертью. Не шевельнулся. «Кто заговорит, тот и грозит!» – решил юноша, и заговорил Ивасюта.

– Все правильно, – сказал он, – и ты не путай! Приди к Казимиру, он тебе еще одну брошюрку даст. Что они делать умеют? Советы разводить да забастовки устраивать? А какая польза? Только детей да баб морят голодом... Крохоборы несчастные! Однако (и револьвер осторожно убрался от живота Бори), однако, – продолжал Ивасюта, – ты прав, Бориска... У социал-демократов мухи с тоскидохнут, пайку хлеба на всех делят, а Ениколопов тоже – гусь опасный. Широкий – верно, но сидеть нам узко будет.

– Готово, – выпрямился над столом Сева Загибаев. – Думал, сейчас взорву вас всех, котята... Самому страшно, лей водку! Руки дрожат...

– Будет водка, – сказал Ивасюта. – Ты слушай, корова.

Четыре головы сдвинулись над тарелками в кружок.

– Жить будем, как жили, – весело! – горячо шептал Ивасюта. – А Ениколопова – побоку. Чтобы не все гулять, начнем полицию стукать. Ух, и злости же у меня! Боле трех дней городовому стоять не дадим... уберем! Вот и революция! Моня, – тряхнул Ивасюта ученика провизора, – ты все обоснуй сейчас идейно...

Моня Мессершмидт задумался печально, тряхнул кудря-

ми.

– Доказано, – начал, – что существующий строй никуда не годится. Доказано: что анархизм обеспечивает максимум свободы и независимости всем и каждому. Доказано, – и Моня поперчил солянку, – что социализм, не говоря уже о других, более умеренных системах, есть только лишняя и вредная задержка на пути к идеалу мирового человечества... Я сказал ясно? Кто добавит?

– А кто думает иначе, – разлил водку Сева, – тот враг свободы. Я согласен! Поехали в Париж и будем рвать там, в Уренске захиреем.

– погоди ты, дурак, с Парижем, – возразил Боря Потоцкий. – Я ведь тоже не софист, испорченный буржуазией, и я согласен: самодержавие ни к черту не годится. Но так ли мы с ним боремся? Где партия? Где идеалы? Ведь так можно скатиться до бандитизма...

– Опять эти «измы», – скривил рожу Сева Загибаев. – Хватит!

– Слушай, Боря, как ты можешь? – заговорил Моня Мессершмидт. – Читал ли ты Бакунина? Да знаешь ли ты князя Кропоткина?

– Читал Бакунина, знаю Кропоткина, – отвечал Боря. – Но у них тоже свои идеалы, и ничего не сказано, чтобы грабить Осипа Донатовича! Сначала пьяные умиления, потом банк в Запереченске, а теперь... Почтовый вагон? Так вы хотите?

– Едем тогда в Мексику, – воодушевился Сева. – Во рай-



то где! На каждом шагу, я читал в книжке, палят из револьверов, и баб полно черномазых. А полиция в революции не мешается, знай себе только трупы раскладывает...

Боря Потоцкий налил себе рюмочку, зажмурил глаза, выпил.

– Нужна партия, а не банда, – сказал, нюхая корочку. – Не хотите идти к Казимиру – не надо. Но тогда поехали хоть к Битбееву, у него сбита группа – активная, боевая...

– А кто они, эти битбеевцы? – подозрительно спросил Ивасюта.

– Максималисты. Или безначальцы... не помню точно.

– Тьфу! – сплюнул Сева под стол. – Чего мудрить? Неужели нельзя просто: Ениколопов – идеями, мы – револьверами... Проголосуем, товарищи! Кто за почтовый вагон? Кто за Мексику?

– Сначала шестой участок, – авторитетно сказал Ивасюта. – Нам полиции жалеть нечего. Попадется Чиколишка на улице – клей его на всю обойму с приплатой. Вот наш вклад в дело революции!

Потом Ивасюта махнул рукой, вынул из кармана мятые деньги.

– Все, что осталось... Гулять так гулять! Давай шампанского, давай ликеров разных. Отгуляем в Уренске, потом и в Париж можно махнуть. К самому Жоресу закатимся – принимай, мы уренские!..

– Я не поеду, – сказал Боря. – А тебе, Ивасюта, не мешало

бы в депо вернуться. Забастовка кончилась, все товарищи вернулись к станкам. Работают... А ты?

— Мы и так проживем, — ответил Сева, обнимая Ивасюту. — Пусть лошадь работает. Я тоже не пойду в контору. Что мы? Денег разве не достанем? Эдакого-то дерьма везде много...

— Моня, — повернулся Потоцкий, — скажи хоть ты... убеди!

И в живот Мони, мягко и почти неслышно, тоже ткнулось дуло револьвера. Он испытал сейчас то же, что и Боря. Но лица у всех за столом были спокойны, и бедный Моня не знал — кто ему угрожает?

— Революция все оправдает в случае победы, — сказал Моня, и револьвер убрали от живота его...

К ночи, после ресторана, Ивасюта поехал к своей Соньке в публичный дом. И никакой Казимир его уже не стерег — гуляй как знаешь. На темном перекрестке, стоя на табуретке, стынул под ветром служака-городовой с медалью поверх шинели.

— Получи, собака! — крикнул Ивасюта и двумя выстрелами из браунинга сбросил старика с табуретки, оставил лежать на снегу.

\*\*\*

Амнистии ждала вся Россия, и Ениколопов вскоре проехал по городу в коляске с красным знаменем в руках. Снежинки сверкали на воротнике его рысей шубы. Был он ста-

тен и горд.

– Амнистия! – кричал он. – Получена амнистия, граждане!

Никакой амнистии получено не было – очередная липа.

– Амнистия! – взывал он к уренчанам, размахивая флагом...

Все ждали этого призыва со дня на день, и все были готовы. Когда вокруг его коляски собралась толпа, выкрикивающая угрозы, Ениколопов сунул флаг какому-то дяденьке, а сам поспешил в «Аквариум». Далее его ничто не касалось. Важно то, что амнистия объявлена. А кем – не спрашивай.

– Свободу узникам царизма! – летело над Уренском, и Мышецкий, слыша эти выкрики, был приперт ими к стенке. Но слух об амнистии уже настолько утвердился в сознании всех, что князь воспринял требование толпы, окружившей здание губернского присутствия, как должное, само собой разумеющееся! Немного, правда, пугало его, человека долга, полное отсутствие указаний свыше. Бастующий телеграф путал карты...

– И все-таки, – говорил он Дремлюге, – надобно успокоить общественное мнение. До получения вестей из Петербурга, капитан, выпустите хотя бы Борисяка... Его знают и любят рабочие!

– Я не хочу отвечать, – сомневался Дремлюга.

– Вам и не придется: всю ответственность я беру на себя...

Крики с улицы усилились. Князь велел открыть дверь на

балкон. Выпала сухая замазка, молочным паром ударило в лицо. В одном мундире, без шляпы, он вышел на балкон, склонился над толпою:

– Господа, к чему волнения? Я уже отдал приказ... Успокойтесь! Вопрос разрешится в ближайшее время... Внимательно следите за телеграммами!

– Всех... всех на волю! – ревела толпа.

Огурцов спешно закрывал двери на балкон, затыкая щели ключьями серой ваты. В губернское присутствие уже звонил капитан Шестаков.

– Ваше сиятельство, тюрьму окружили, ломаются. Кричат об амнистии. А и де она? Что-то не видывал!

Мышецкий дал разрешение освободить всех политических заключенных. Только политических! Семь бед – один ответ. Что свершилось, то есть – переделывать поздно. Если «политику» освободил без амнистии московский губернатор Джунковский, то ему, князю Мышецкому, и сам бог велел. Теперь дело оставалось за малым... за амнистией.

– Огурцов, будьте так добры, сходите на телеграф. Узнайте – есть она, долгожданная, или нету?

Огурцов скоро вернулся: и не бывало!

– Вот и влипли, – тихо засмеялся Мышецкий. – Но я верю: она должна быть, и без этого России не стоять на месте – революция камня на камне не оставит, если государь не даст ныне амнистии.

Явился потом Чиколини, всплакнул:

– Нехорошо получается, ваше сиятельство. У меня городовые – передовые люди. Один из них даже в социал-демократы заступил, а его – вот! – убили вчера на Петуховке.

– Печально, – ответил Мышецкий. – Весьма сожалею. Однако на лбу у них не написано, что они передовые... Может, хулиганы?

– Может, и хулиганы! Место такое – публичные дома рядом... У меня просьба к вам, ваше сиятельство: коли амнистия выпала, так освободим черкесов! Черкесы-то – бог с ними: ведро баланды им наварим, они съедят, а потом до утра лезгинку пляшут. Зато вот – лошади, князь, сущее наказание...

– Лошади?

– Точно так. Лошади ведь – не люди: им овес надобен. А сие накладно для участка. Вот тут амнистия как раз подошла...

– Но амнистия-то, Бруно Иванович, не ради лошадей!

– Оно и верно, что лошадей не касается. Да – накладно!

– Ладно, – разрешил Мышецкий, – выпустите и черкесов, чтобы они вернулись непременно на Кавказ.

Черкесов выпустили на заснеженный двор, вывели из конюшни лошадей – крепкозадых, с лоском шкур и дрожанием холка. Звякали стремяна из чистого серебра, но зато попоны были нищенские. Пригнулись черкесы в седлах, гикнули, цыкнули – ищи-свищи их теперь. Видели их скачущими по дороге прямо в Большие Малинки.

– Дэнги, – говорили черкесы, – с дэнги служит будэм!  
И вечером Большие Малинки встревоженно гасили огни:  
– Охти, Ивановна! Черкесы вернулись, опять хлестать станут...

Мышецкий об этом ничего не знал, каждый день гоняя старика Огурпова на телеграф: есть амнистия или нету?

– Нету, ваше сиятельство, пожалейте мои ноги...

Амнистия была объявлена лишь в конце октября, и застучали колеса поездов – спешили в Россию из ссылки поседевшие ветераны радикализма. На станциях их ждали фотографии, чтобы снимать на память «букетом». Это были странные фотографии, когда рядом с меньшевиком Чесноковым сидел анархист Вася Темный, купец-издатель Галушкин нежно обнимал эсера Комара-Громовержца, а возвышенный либерал барон, облокотясь на урну с цветами, взирал на своего милого друга – экспроприатора Федю Нагнибеса... Впрочем, как говаривал Ениколопов, революция имеет множество граней, и не все грани как следует отшлифованы...

– Теперь я спокоен, – говорил Мышецкий.

\*\*\*

В день, когда до Уренска дошла весть об амнистии, в губернской больнице, на руках своей жены, Евдокии Поповой, скончался Петя – этот маленький человечек; он простил перед смертью зло, порожденное той борьбой, от которой все-

гда был столь далек.

Додо стала наследницей его капиталов.

Мышецкий был заплакан, выглядел плохо, под глазами – дряблые мешочки от дурных ночей, губы отдавали синевой, в концах пальцев губернатора – мелкое дрожание.

Огурцов, сочувствуя, доложил проникновенным шепотом:

– Вас желает видеть депутат Государственной думы...

Сергей Яковлевич издерганно и нервно рассмеялся:

– Я еще не сошел с ума... Откуда он взялся?

– Султан Самсырбай, из степи...

– Какие депутаты? – волновался Мышецкий. – Какая там дума? С чего он это взял? Тут камни с неба летят, а он уже себя в думу выбрал? Что он там дурака валяет?.. Ладно, просите, приму!

Сергей Яковлевич посмотрел, как сверкают золотые наперстки, надетые на грязные пальцы Самсырбая, и сразу решил не величать султана ни светлейшим, ни его сиятельством, а лишь по званию.

– Господин прапорщик, – сказал он, – до каких же пор вы будете меня преследовать своими инсинуациями? Положение о выборах еще не выработано в деталях. Выборов не было, кандидатуры губернии едва намечены. И вдруг, извольте видеть, вы самочинно объявляете себя депутатом несуществующего органа правительства...



Весело глядел на него султан узкими щелочками глазок:

– Таврический двор штукатурку старую сбили? Сбили. Новую лепят? Лепят... Для чего, ты думаешь, князь? Десять рублей на один день давать будут... Говори скорей: где деньги получать надо?

Султан прищелкнул языком, и князь Мышецкий, его сиятельство, вдруг прищелкнул тоже – да еще громче его светлости:

– Вы слишком много знаете, господин прапорщик! Больше меня, видно. Даже про штукатурку извещены... Что вы представляете?

– Степная фурий, – ответил султан Самсырбай.

– Это я знаю, что вы можете быть избраны только от степной курии. Но кто вас выдвинул? Кого в своем лице вы можете представлять в думе как депутат? И зачем вам все это? Допустимо являть в своем лице жителей степи, но нельзя же быть избранным от самой степи... Это – только степь! Только степь! Дичь, глушь!

Золотые наперстки вдруг возмущенно застучали.

– Дурак ты, князь! – озлобился султан. – Киргизы мои? Бараны мои? Байкуль мой? Вот моя фурий, вот мой партий. Сто десять жен имел, весной еще прикуплю. – Сложил пальцы в гузку, чмокнул жирными губами. – Ай, – сказал жмурясь, – хорош девучк! А ты, князь, одну жену имел. Да и ту батыр-Иконник увел...

После этих слов ничего не оставалось делать, как начать

Мамаево побоище. Будем же беспристрастны: князь одержал над султаном блистательную победу, и Самсырбай, посрамленный, отступил в свои степи. Мышецкий наказал Чикол이니 запретить отныне въезд султану в пределы города. Чтоб его ноги больше тут не было!

– Если же его и изберут все-таки в думу, так он переселится в Таврический дворец прямо из своей кибитки...

К ночи Мышецкий вернулся к себе в пустой дом; одно лишь окошко светлело на втором этаже, в ажурном переплетении оголенных ветвей. Сергей Яковлевич поднялся по лестнице, тяжело и устало, как старик, и легкая тень женщины вздрогнула в потемках комнаты.

– Додо? – присмотрелся Мышецкий.

– Нет, это я... Ксения!

И вдруг – в тоске одиночества – его рвануло навстречу этой женщине. Часто-часто целовал Ксюшины лицо и руки, сполз на пол, обхватил ее колени, прижался к ней и затих, почти счастливый:

– Милая... Как хорошо, что вы пришли! Я погибаю...

Сверху – над ним – прозвучал тихий голос Ксюши:

– А мужики отобрали у меня клавишины... Зачем?

– Бог с ними, с мужиками... Пускай играют!

В это свидание их не преследовали черкесы, не было разговоров об аренде. Наплыв чувственности затопил обоих, и женщина, отдаваясь ему, опустошила себя до конца. Мышецкий проснулся умиротворенным и долго смотрел, как

светлеет на подушке лицо молодой женщины, так много взявшей от него, так много давшей ему. «Боже! – ужаснулся он. – Какая путаная жизнь... какой сумбур!»

Ксюша обещала приехать снова – в начале ноября.

\*\*\*

Октябрь миновал...

В самый последний день месяца Мышецкий нетерпеливо ждал призывного гудка депо. Нет, гудка не было – забастовка не началась. «Слава богу...»

А внутри России снова замерли на путях поезда, замолкли телеграфы. Самодержавие опять лежало в параличе, с перебитыми ногами – рельсами. Язык императора был прикушен.

С облегченным сердцем Мышецкий сорвал листок календаря: «А у нас – тихо...»

Вернулся домой. Лакей и два казака внизу. И – никого больше.

Потрогал на стене собственную тень – нескладную.

– Без працы не бенды кололацы, – сказал привычно и стал ждать.

«Чего?...» – Гудка? Взрыва? Или... Ксюшу?

# Глава седьмая

## 1

В Уренске на заборах часто встречалась однообразная реклама: «Приобретайте унитазы у Шопотова!»

Кто такой Шопотов – никто не знал, но фирма была известная, и когда нужно было справиться в незнакомом доме, то шепотом так и спрашивали:

– А где у вас, пардон, Шопотов?..

Но вот, в эти тревожные дни, под словами «Приобретайте унитазы у Шопотова» появилось красочное добавление: «...если не сможете достать у Лидваля!» Торговая реклама на Руси, как известно, была поставлена на широкую ногу. Никто бы и не обратил внимания на новую фирму Лидваля (до этого ли сейчас!), но впоследствии эти унитазы сыграли свою роковую роль – и в делах думы, и в министерстве внутренних дел, и в судьбе Уренска, и в том, что мужики стали умирать от голода еще больше...

Пока что в Уренске купил себе лидвалеvский унитаз только один Бобр – остальные, консервативно мыслящие, жили себе с Шопотовым. Броское имя владельца фирмы, выведенное по сияющему ободку благоуханной чаши, не наводило на мысль о коррупции частного капитала с правительством.

Однако это было так! Унитазами с факсимиле своего имени скромный Лидваль проник сначала в уборные министров, а потом и в передние. Он очень хотел помочь голодающим мужикам. Как он это сделает – это его дело, важно получить от скаредного министерства деньги. Все ясно: провинции бедствуют от бескормицы, так дайте же денег Лидвалю! Чего же вы, господа, не даете? Но пока денег не давали: слишком напряженное было время, чтобы думать о вымирающих от бескормицы деревнях...

Впрочем, губернатор в Уренске справлялся с голоданием собственными усилиями. Вырывал хлеб у одних, совал в рот другим, шла перетасовка хлебных запасов из уезда в уезд... «Спасибо господину Иконникову! Вот истинный гражданин!» – частенько говаривал Мышецкий, благодаря за хлеб, но мысли его были сейчас далеки от бескормицы. Власть отступала и пятилась от революции. А довольных в России почти не было: от миллионщика Саввы Морозова до последнего бобыля из деревеньки Гнилые Мякиши – все бурлило в негодовании. Но каждый был недоволен на свой лад, и от этого начался быстрый раскол страны по партиям, кружкам и «говорильням».

Не растеряться было трудно. Мышецкий – в эти дни новой политической забастовки – получил кликушеский призыв премьера России к бастующим рабочим. «Братцы рабочие, – писал граф Витте, – станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей. Не слушайте дурных со-

ветов...» Сергей Яковлевич схватил перо и быстро изложил свои соображения. При настоящей ситуации, считал князь, оглашение такого призыва в Уренске нежелательно, и нельзя ли спрятать под сукно этот призыв, никому его не объявляя? Таков примерно был смысл его срочной телеграммы, отправленной Витте. А к вечеру получил ответ из канцелярии премьера – лапидарный. «Не умствовать!» – велели ему, и этого было достаточно, чтобы князь Мышецкий, оскорбленный, ожесточился:

– Хорошо, милый граф Сергей Юльевич, мы умствовать не будем. Пеняйте на себя... Огурцов! Пошлите кого-либо в Совет – пусть меня навестит Борисяк или этот... Ну, с польской фамилией! Машинист с депо! Мне безразлично – кто. А я буду дома...

Последнее время его тянуло уединиться – домой, домой, в пыльный халат, в чащобу старинных журналов с картинками, в тягучее пение рассыхающихся паркетов.

Борисяк пришел уже затемно: был плохо выбрит, сапоги его, подбитые железками, скользили по плиткам паркета, мял и тискал в кулаке круглый подбородок.

– Савва Кириллович, – сказал Мышецкий, – считаю своим долгом передать вам, как представителю Совета, это обращение графа Витте. Можете оглашать, можете замолчать – меня это не касается. И более отвечать премьеру не стану – отвечайте вы сами!

– Ладно, – прочел Борисяк обращение. – Это нам кстати...

Помолчали, и Мышецкий вдруг душевно заговорил:

– Знаю, что мой характер испортился за эти два года. Раньше я не был таковым! Общение с людьми различных крайностей мало воспитывает, а более развращает. Боже! С кем только не приходится мне иметь дела – от сладко глаголящего Бобра до матерного обираловца... Вы же знаете, – продолжал Мышецкий, подумав, – я не лгал вам. И вам, надеюсь, известно, что я далек от ретроградства? И вы понимаете, что политика аферы и авантюризма далека от меня?

– О чем говорить, князь? – Борисяк хлопнул ладонью по столу.

– А тогда скажите мне честно: не слишком ли вы увлеклись сменой ситуаций? Не губительна ли эта полоса бунтов для России? Освежающий ветер, после издания манифеста, уже очистил мусор на свалке. Осталось дело за нами: все желаемое народом мы получили. Способы борьбы стали легальны. Царя ругают. Может, и... хватит?

– Чего – хватит? – спросил Борисяк.

– Хватит уже волнений. Хватит! Пора браться за дело, а не устраивать забастовки. Вам и без того, Савва Кириллович, удалось добиться очень многого. Я не боюсь признать честно: «Ты победил, галилеянин!» Остальное приложится с открытием думы, которой вы почему-то не признаете... Чего добиваетесь вы в этой борьбе?

Но вот Борисяк заговорил, и в Мышецком выросло глухое раздражение. Сидел перед ним человек, вроде бы и

неглупый, проверенный в трудах губернских. Но он говорил, а Мышецкому как-то не верилось в его программу переустройства России на новых началах...

– Все это слова, Савва Кирилович, – ответил губернатор. – Вот вы говорите, что фабрики и заводы, победи вы только, поступят в вечное пользование трудового народа. А что он, этот трудовой народ, извините, будет делать с этими фабриками и заводами?

– Работать.

– А я, например, не хочу работать.

– Заставим...

– Заставите работать... Для кого работать?

– Для себя. Для государства.

– Но они и сейчас работают. Для себя, чтобы прокормить семью. Для государства, подданными которого они являются.

– Сейчас, – возразил Борисяк, – они работают на капиталиста.

– Но капиталисты тоже работают не для себя! Их трудом и достоянием, их инициативой движется наша Россия к прогрессу.

– Они богатеют на колониальных войнах.

– Простите, сударь, а какие войны собираетесь вести вы?

– Только классовые! – ответил Борисяк.

– Однако, – хмыкнул Мышецкий, – по моему скудному разумению, в классовых войнах людей убивают таким же спо-



собом, как и в войнах капиталистических... Какая же разница?

– Это высшая алгебра, и вам этого не понять, князь.

– Где уж нам с «дважды два – четыре»! – обиделся Мышецкий.

– А кто? – спросил Борисяк. – Кто рискнет посягнуть на первое в мире свободное государство, где все люди равны и счастливы?

И тогда князь Мышецкий ядовито рассмеялся.

– Вот! – сказал, довольный. – Вот тогда-то и посягнут. И пушек вы, господин Борисяк, узнаете тогда больше, нежели вся Россия знала их за восемьсот лет своей истории. Истории – и без того славной войнами... Вы остаетесь при своем мнении, конечно?

– Безусловно, Сергей Яковлевич, и думаю, что впредь, князь, нам не стоит обсуждать будущее... Мы его видим раз-  
но!

Борисяк огласил виттевский призыв на митинге, и рабочее депо приняли резолюцию: «Прочитали – забастовали!» Над Уренском долго ревел гудок. Это было совсем непонятно Мышецкому: ведь Москва не откликнулась на гудки Путиловского и Невского заводов – Москва затихла, словно готовясь к чему-то...

«Это плохо кончится, – решил Сергей Яковлевич. – Пушки не способны расстрелять идею, но зато они великолепно убивают людей. Екатерина Великая, конечно, была умная

женщина, но в ее век не было еще такой артиллерии!»

\*\*\*

Атрыганьев прожил последнее время, как ветхозаветный масон, в поисках истинного света. Мир был разделен на добро и зло поровну. А посередине, уравнивая эти половины, стояли сиятельные конституционалисты-демократы – партия новая, слово длинное. Лучше называть кратко: кадеты! Кратко, хотя и обидно. «Кадет, на палочку продет, – вспомнил Атрыганьев. – Прямо скажем – нехорошо. Кто это придумал?...»

Борис Николаевич, как первый кадет в Уренской губернии, воодушевился. Партия всегда так начинается: кто-то должен быть первым, тогда не будет и последнего. Не хватало лишь союзников и единомышленников!

– Серость наша, – мрачно говорил Атрыганьев, озираясь...

Кандидаты, намеченные Атрыганьевым к общественной деятельности, отмалчивались... Сколько пороку извел, чтобы привлечь в партию Огурцова! Долго тот слушал изложение программы, а потом сказал:

– Борис Николаевич, так и быть – дайте мне займы три рубля, и даю вам слово благородного человека: никто и никогда не узнает, о чем вы мне тут сейчас говорили!..

Недавно произошло в городе событие: гласным городской

думы был избран Иконников-младший, заместивший своего отца, и встреча с ним Атрыганьева сулила богатые возможности. Слов нет, Геннадий Лукич – клад для партии кадетов.

– Геннадий Лукич, – так и начал Атрыганьев, – вы клад для партии кадетов... Расскажите, что вы думаете?

– Не терплю вопросов фискального характера. И зачем вам знать, что я думаю?... Вы же – не капитан Дремлюга!

– Ну, а все-таки, – не унывал предводитель. – Россия трещит, и надо спасать ее... Вы спасать собираетесь?

– Спаслась она от татар, спасется и от революции. А что это вы, Борис Николаевич? Спасать – не спасать? Думать – не думать?

– Видите ли, – начал Атрыганьев снова, – недавно обнаружили великие сдвиги. Выпала нам одна карта – козырная...

– О картах еще не забыли? Так-так, – засмеялся Иконников.

– Я имею в виду только манифест от семнадцатого октября...

– Неплохая карта!

– И я... Короче говоря, дорогой Геннадий Лукич, вы – сущий клад для партии с многообъемным названием «кадеты»!

– Болтуны, – ответил Иконников, глянув уничтожающе.

– Как вы сказали?

– Пустые бутылки. Только звон, а толку никакого...

– Ну-у-у! Разве так можно?

Иконников вскочил с кресла, показывая всем своим видом, что время – деньги. Даже дороже денег!

– Да будет вам известно, любезный Борис Николаевич, что наша партия, если вы, кадеты, будете себя хорошо вести, согласна пристегнуть вас. А коренник – верьте! – надежен.

– Осведомлюсь: о какой партии вы говорите?

Иконников ответил ему так:

– «Союз семнадцатого октября» считает манифест его величества отправной точкой всей своей программы. Но – не дальше! И этого нам, октябристам, вполне достаточно. Вот, если желаете, Борис Николаевич, то я вас запишу...

– В октябристы? А кто у вас там?

– У нас вся соль земли русской, земли обильной... Нефть, древесина, заводы, корабли, верфи, хлопок, уголь. Ну, и мой чай, конечно! – засмеялся Иконников. – Извините, спешу.

«Было у меня стекло, были бутылки, да расколотила все Додо!»

– Позвольте! – спохватился Атрыганьев. – Но мы же идеологи России: у нас был философ князь Трубецкой, у нас историк Милюков!

Иконников качнул портфель-сак из нежной золотистой кожи:

– А мы и не стыдимся признать, что мы – не идеологи России! Мы лишь хозяева этой несчастной России...

И ушел. На диком уренском безлюдье горестно застыл ка-

дет. Первый и (кажется) последний. Конечно, можно пойти в гимназию. Но учителя невзлюбили Атрыганьева: он pokrыл туманом деньги, выделенные для покраски парт. Это было еще давно, когда деньги были нужны ему на расходы по партии «Уренских патриотов». Теперь это дело прошлое... «Итак, остался Бобр!»

Сергей Яковлевич, придя к Бобрам в очередную пятницу, был удивлен, встретив здесь и предводителя.

– Добрый день, Борис Николаевич, что привело вас сюда?

– Личные нужды, – ответил Атрыганьев.

Мышецкий, понаблюдав за предводителем, поразился тому, как быстро, почти на глазах, состарился этот человек. Угас, как свечка. От ног остались одни спички. А ведь эти ноги послужили двум царям. Был громкий полк, шелест знамен, скачки и шампанское. Все увяло, словно в старомодном букете. Жалость и презрение...

Кулебяка у Бобров была сегодня с рыбой.

– Потому что базара не было, – объяснила усатая Бобриха.

– Да, князь, не было сегодня базара, – подтвердил Бобр. – Великие времена приносят осложнения... Спасибо и за рыбку!

Ксюша опять не приехала, Мышецкий целый день не ел и сейчас был очень занят едой и выпивкой.

– А почему не было? – спросил машинально, ради вежливости.

– Кричали: погром, погром! И все лавки с утра закрыли...

«Какой же я беспомощный», – решил князь и сказал:

– Мужики боятся погромов со стороны города, а город боится погрома из деревни... Доколе же все это? Куда идем? Хаос!

В разговор ввязался и Атрыганьев:

– А все-таки, как ни осуждай, Жеребцовы поступили с умом. Черкесы обходятся недорого, мамалыги пожрут, и довольны. Но зато в Больших Малинках снова порядок: скот вернули владельцу, солому, которую разграбили, отняли обратно... Мужик признает силу!

И снова Мышецкий с болью подумал о своей полной беспомощности: черкесы, оказывается, уже в Больших Малинках, а для него это новость. Ксюша сказала даже про клавишины, но о черкесах умолчала. «Ксюша лжива», – отметил князь про себя.

– Если это так, – сказал Мышецкий в сторону Атрыганьева, – то вам следует вмешаться: нельзя допускать насилия во времена легальных решений любого спорного вопроса!

Подал голос и прапорщик Беллаш:

– Легально или нелегально, князь, но земельный вопрос можно разрешить лишь путем революционным. А не бюрократическим!

– Благодарю, – поклонился через стол Мышецкий. – Когда меня просвещают, мне это очень нравится... Революция во Франции водрузила на площадь гильотину. А что выносим мы на арену борьбы за землю? Вилы и дубье, пожар и

воровство со взломом! Почитайте демократа Слепцова, прапорщик: он хорошо пишет, как и где происходят решения мужицких сходов! «Вали, робяты, в кабак – тамотко все разберем и уладим...»

– Свины! – сказал Бобр, поддержав князя.

– Кстати, – продолжал Мышецкий, – очерк так и называется: «Свины». И нам надобно бояться таких стадных решений. Я согласен принять приговор от Робеспьера, но быть проткнутым вилами... Нет, сударь, увольте! Смерть должна быть возвышенна, как и жизнь!

– Впервые, – ответил ему Баллаш учтиво, – вы, Сергей Яковлевич, заговорили, как российский помещик...

– А я и есть российский помещик! Только непохожий на господ Жеребцовых с их черкесами. Я – да, помещик, помещик по плоти и духу, от предков своих. Но хорошо знающий нужды народа!

Кажется, в говорильне Бобров назревал скандал. Причем весьма опасного свойства. Опасен и по конфликту, и по словесному духу. Один – прапорщик железнодорожного батальона, социалист. А другой – князь, камергер и губернатор. Потому-то Бобр был даже рад, когда Атрыганьев залучил его в соседнюю комнату. По секрету!

– Авдий Маркович, – сказал он проникновенно, – давно к вам присматриваюсь: вы же – клад для нашей партии кадетов...

Договорились они так: во избежание вздорных слухов,

Бобр тайно примет крещение от партии конституционалистов.

– Поймите правильно мое положение, – говорил Бобр, озираясь, – моя жена, мой директор гимназии, в доме у нас, сами видите, губернатор бывает... Как бы не того!

Когда же они вернулись в столовую, спор угас, Мышецкий тянулся с рюмкой к прапорщику Беллашу.

– Молодой человек, – говорил князь, – вы думаете, я не страдаю? Я страдаю тоже жестоко и неизлечимо. Вы можете подозревать меня в чем угодно – только не в консерватизме! А вам я дам добрый совет: вы еще молоды, но ваша эрудиция в восточных делах оказывает вам честь. Тюркские и монгольские наречья столь сложны, и там мало специалистов! Эти языки выведут вас в люди, но зато ваш собственный язык заведет вас в Шлиссельбургскую крепость...

Все засмеялись, Мышецкий встал, с грохотом рухнул под князем стул, жалобно звякнула разбитая тарелка.

– Извините, – сказал он Бобрам, – я, кажется, выпил лишнее?

\*\*\*

У казаков, читавших газеты в передней губернатора, он спросил:

– А госпожа Жеребцова так и не приехала?

– Никак нет! – вскочив, хором отрапортовали ему.



– Ребята, – пригляделся князь, – газеты вы читайте, но хоть руки-то мойте... Письма есть? – Он сгреб с подноса почту, под хмельком переступал ногами по скрипучей лестнице. – Халат!

Халат, письма, газеты, тоска – вот его удел. И странно: когда приехал сюда впервые, все кипело ключом, жаль было тратить время на сон и еду. А ныне, когда вся Россия ворочалась за полосой тургайских степей чудовищным разбуженным великаном, сейчас ему дела не находилось. Так только... отписки, разговоры, страхи и опасения!

А литературы стало выходить в России много. Гораздо больше, чем раньше. И все какая-то новая – вызывающая, злорадная, яростная. Вот журнал «Стрелы» – с подзаголовком, почти по-треповски: «Наш журнал беспощадный, сотрудникам велено патронов не жалеть, холостых залпов не давать!» А стихи? Боже мой, куда ни кинешь глаз, везде эпитаграммы. Да такие, что читать их страшно:

Сочинена тобою, Самозванов,  
Романов целая семья,  
Но молвлю, правды не тая:  
Я не люблю твоей семьи романов.

Или – еще похлеще:

Однажды на митинг собрались лягушки,  
«Нам, – квакали, – жить невозможно.

Долой из пруда кровопийцу-колюшку,  
Что колет нас всех так безбожно!»

Сергей Яковлевич поразмыслил над газетами и вдруг попросил барышню на телефонной станции соединить его с квартирой уренского полицмейстера...

– Бруно Иванович, – спросил Мышецкий, – что делается вами для пресечения печатного вздора? Где продают, как правило, новые журналы?

– На вокзале, князь, больше. Прямо так и хватают... Рвут!

– Вот и вы рвите, – наказал Мышецкий. – Рвите на куски.

С другого конца города – долгое молчание.

– Князь, – жалобно спросил Чиколيني, – а как же быть со свободой слова? Вы же сами не раз мне внушали...

– Я не против свободы, Бруно Иванович, и всегда буду стоять на страже ее! Но то, что мы наблюдаем, есть личное оскорбление государя-императора. Нельзя же изображать его величество дурным мальчишкой с шишкой на лбу! Кто, как не государь, и дал нам эти свободы? Так зачем же огульно вредить ему? Конфискуйте, рвите!...

Утром он проснулся бодрым. Висок не болел. Пришел парикмахер, тщательно выбрил княжескую личину. Холодный душ, массаж живота, три яйца в мешочке на завтрак.

– Базар открыт? – спросил у лакея.

– Сегодня – да...

Мышецкий успокоился. Кофе навеяло благодушное на-

строение. В присутствии, как всегда, вотрется в кабинет змий-искуситель Огурцов, введет в соблазн: «Двухспальную, князь, прикажете?» Падал легкий снежок. Лошади с коляской шагали рядом, а Сергей Яковлевич шел по панели, обледенелой и заскорузлой.

– Надо бы посыпать солью, – сказал мимоходом дворнику.

– Полить бы! – сдерзил тот. – Кровушкой...

Во дворе присутствия стояла телега, крытая мешковиной. Лошади понурили головы: устали. Мужики-возницы скинули шапчонки.

– Что такое? И откуда? – спросил Мышецкий равнодушно.

Мешковину сдернули. Лежали на дне телеги два черных обгорелых трупа. Черные ямы раскрытых в ужасе ртов, распяленные ноги, скорченные в огне руки... Уголь, зола, прах.

– Кто такие? – спросил – и рухнул на снег...

## 2

Ксюша вернулась из Уренска к мужу, и дом перевернулся: летала через комнаты туфля с ноги девочки, выпытывал интимные подробности слабец «папочка». Черкесы бдительно несли службу за «дэнгы»: озверев за время отсидки в участке, они словно обрадовались свободе, – мужики боялись из дому выходить: засекут!

Вот тут-то и появился святой Евлогий – не самозванный, которого пригред покойный Тулумбадзе, а тот самый, природный, возвращенный идеями синода и полиции, но свихнувшийся себе голову; ученик – отступник от своих учителей... Возле кабака Евлогий смачно высморкался, вытер пальцы о подрясник и сказал душевно:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.